Надежда Дегтярёва

Когда говорит душа

Тайшет

литературный

Надежда
Дегтярёва

Когда говорит душа

Рассказы

Зверев А.
Отневский П.
Гарь
Неудачный интерес
Интернет
Дома и сад
Трансформ будущего
SSD

Надежда Дегтярёва

Когда говорит душа

Рассказы

Иркутск
2017

ББК 84 (2 Рос=Рус) 6
Д 26

Составители Н. Миронова, Л. Проскурякова
Редактор текста Н. Ершова
Рисунки Н. Дегтярёвой

Дегтярёва, Надежда
Когда говорит душа : рассказы / Н. Дегтярёва ; сост. Н. Миронова, Л. Проскурякова ; вступит. ст. Н. Миронова ; рис. Н. Дегтярёвой ; редактор текста Н. Ершова. – Иркутск : Типография «На Чехова», 2017. – 176 с. : ил.

В книгу вошли рассказы автора объединения «Тайшет литературный» Надежды Дегтярёвой.

От составителя

Надежда Дегтярёва родилась в 1957 году в городе Тайшете.

После школы пришла на завод по ремонту дорожно-строительных машин. Заочно окончила техникум, затем Братский индустриальный институт по специальности «Строительные и дорожные машины». За двадцать лет работы прошла путь от слесаря-сверловщика до конструктора технологической оснастки. Эти годы считает заслуженно интересными, с ностальгией вспоминает о родном предприятии, где произошло становление её как личности.

К сожалению, в годы перестройки пришлось уволиться с завода и перейти на работу в администрацию города Тайшета, а затем – в администрацию Тайшетского района. С 2014 года возглавляет Тайшетскую районную общественную организацию ветеранов.

По натуре она оптимист, человек увлечённый, неравнодушный, свою жизнь сама делает интересной. Имеет первый спортивный разряд по стрельбе из малокалиберной винтовки, третий разряд по шахматам. С 2010 года – руководитель Тайшетского шахматного клуба «Дебют». Очень любит путешествовать. В своих поездках никогда не расстаётся с фотоаппаратом. Вокруг неё много интересных людей, общение с которыми она очень ценит.

Несмотря на большую занятость, она находит время для занятий литературным творчеством. Ещё в детстве пробовала писать стихи, но более осознанно стала заниматься этим в возрасте 30-ти лет. Появилась тетрадка, вторая, третья. Позже, в 2006 году, написала первый рассказ, опубликованный в местной газете под псевдонимом Анастасия Мишина. Так началось её творчество как прозаика.

В 2009 году она становится членом объединения «Тайшет литературный».

Начиная с 2012 года, ежегодно печатается в Красноярском литературном альманахе «Новый Енисейский литератор». Трижды стала лауреатом в номинации «Конкурс короткого рассказа».

Часть её рассказов опубликована в литературных сборниках тайшетских авторов: «Если в сердце родина малая» (2013 г.), «И память прошлого тревожит» (2016 г.).

Рассказы Надежды Дегтярёвой не оставляют читателей равнодушными. В их основу легли конкретные житейские события. В них внутренний мир человека, его душа, мысли.

Н. Миронова

От автора

Первый рассказ был опубликован в 2006 году. Это был «Дом», мой первый, мой самый-самый... Выплеснулись из души какая-то боль, щемящее чувство ностальгии по прошедшему детству...

За эти годы были написаны другие рассказы, родилась книжка.

Некоторые из них носят автобиографичный характер: «Баба Ася», «Последний день войны». В них мне хотелось заглянуть в прошлое моих родителей, как бы пережить вместе с ними выпавшие на их долю испытания, ощутить дух времени, когда складывались те основы, на которых зародилась моя жизнь, мой характер.

В отдельных рассказах на первый взгляд кажущаяся комичность ситуации передаёт драматизм происходящих событий, когда к героям приходит по́зднее прозрение, обретение понимания истинных жизненных ценностей.

Много в моих рассказах уделено внимания взаимоотношениям мужчины и женщины, зарождению первого чувства, сложностям семейной жизни.

Читатель, наверное, также ощутит смешанные чувства грусти, горечи и жалости к людям немного наивным, беспомощным в несвойственной им обстановке и поймёт, как важно, когда найдётся тот, кто вовремя придёт на помощь, подставит своё плечо.

В жизни каждого человека может случиться беда. И эту боль потери от имени многих матерей я выразила в рассказе «Крик».

По-прежнему продолжаю наблюдать жизнь и писать. Будет ли новая книга – пока не знаю.

Дом

На краю небольшого городка жил-был дом. Не маленький и не большой. Обыкновенный дом. Необыкновенное в нём было то, что он слышал. И не только звуки ему были доступны, но и запахи, настроение, душевное состояние. Таким вот его построили. Сам момент строительства он не помнит – маленький был. Да и не сразу понял, что обозначают звуки и запахи. А подрос – и понял. И оценил, что и у него есть душа. А как иначе? Чем же он тогда чувствовал настроение своих домочадцев?

Дом знал, что в нём живёт молодая семья. Вот тяжело, по-хозяйски, по-мужски значимо, прошёл Хозяин. Дом чувствовал, что Хозяин – главное лицо в доме по части основных решений. Где что крупное делать, тяжёлое – это он. А вот лёгкие шаги хлопотуньи Хозяйки. Как только её шаги послышатся, значит, скоро загудит пламя

в печи, запахнет вкусненьким, польётся негромкая песня. Шаги хозяйки напоминали танец – половицы не скрипнут под ними. Эти шаги были самыми первыми по утрам, и самыми последними по вечерам, что слышал Дом.

Немного погодя к шагам Хозяина и Хозяйки добавились новые шаги: шаги-топотушки. Дом до их появления обратил внимание на какие-то странные звуки: то ли мяуканье, то ли непонятный разговор. Но его жизненного опыта было явно мало, чтобы разобраться, что к чему. И только когда стал слышен лёгкий топот босых маленьких ножек, Дом всё понял. Никогда не испытанное чувство, названия которого он и не знал, заполнило его до крыши. Новая жизнь бегала по дому, колупала стенки, стукалась об углы, спотыкалась на пустом месте. И часто орала. Но Дом тихонько посмеивался чистыми окнами и, как мог, смягчал ушибы Маленького Хозяина, – именно так Дом звал обладателя быстрых ног.

Особое отношение Дома было к печи. Она жила своей жизнью, а её тепло было жизнью для всех остальных. Дом относился к печи с удивлением и с почтением, и даже трогательно. Он ощущал печь как своё сердце: как сердце гонит кровь по венам, так и печь своим теплом наполняет комнаты. И летом, когда протапливали очень редко, Дом чувствовал, что печь, хотя и отдыхает от зимних забот, тоже скучает по теплу.

Дому было приятно слушать, как, остывая, потрескивают кирпичи, как гудит ветер в трубе; ощущать, как задиристо пахнут смолистые полешки. С печью были связаны и вкуснейшие запахи борща и хлеба, ватрушек и жареной картошки. Дом вдыхал эти божественные ароматы, мечтательно потягиваясь своими венцами.

Шло время. Здесь, в Доме, оно было то стремительным, то тягуче монотонным. Зимой, под тяжестью снега съежившись от морозов, Дом укрывал своих обитателей, печь, ленивого наглого кота и даже шебуршащих мышей в подполье. И время текло, стылое, неторопливое. И только детские голоса взбудораживали Дом от сна и сумерек, когда, накатавшись с горок, напрыгавшись по сугробам, обледеневшие, но хохочущие ребятишки вваливались в тепло. И тогда Дом расправлял стены, отогревал это неугомонное племя и сам вместе с ними как будто молодел.

А приход весны Дом ощущал по хлопотам. Он знал, что есть такое время – Пасха. К этому Празднику Хозяйка всегда в баке разводит известь, подсинивает её, и начинается весёлая кутерьма – побелка. В

доме раскрывались окна, все суетились, лишнее выносилось из дома, всё чистилось, стиралось. Дому всегда было щекотно, когда Хозяйка белила его стены, он стеснялся этого, как бы сказать, интимного действия, но испытывал такое радостное чувство от чистоты, что готов был терпеть побелку каждый месяц. После этого наступала весна. И Дом радовался жизни, теплу, солнышку, зелени. Воробьи скандалили под крышей, дождь струился по листьям стоящей рядом с Домом очень старой черёмухи, окна и двери хлопали беспрестанно – городок своим шумом не давал скучать. Дом жил. И время бежало стремительно, как весенний ручеёк.

С годами шаги Хозяина становились всё более тяжёлыми, а в шагах Хозяйки появились шаркающие звуки. Шаги же Молодого Хозяина приобрели уверенность взрослого мужчины. Иногда Дом даже путал его шаги с шагами Хозяина. А затем Дом перестал слышать молодые шаги. В Доме поселилась странная скучная тишина, и всё чаще по ночам Дом будили вздохи Хозяйки: она скучала по уехавшему сыну. Дом смирился. Он не имел права вмешиваться в жизнь людей, да и не мог.

Беду он почувствовал ночью. Хрип, звук упавшего тела, быстрые шаги Хозяйки, слёзы. Дом понял, случилось то естественное, но такое нехорошее, с чем примириться всегда невозможно. Были чужие люди, были слёзы, тихие разговоры. Вновь Дом услышал шаги Молодого Хозяина. Или уже просто Хозяина? Дом притих, в одиночестве переживая людскую смерть.

А через несколько дней тишину нарушали только шаги Хозяйки. Они стали тихими, слабыми и одинокими. Перестало по утрам пахнуть свежими ватрушками или драниками, да и запах борща появлялся гораздо реже. Печь топилась мало, иногда через день. Дом ощущал, как в углах пауки стали плести свои тенёта, на полу скапливалась пыль, занавески на окнах потихоньку теряли свою белизну. Впервые Пасху и весну Дом встретил без побелки.

А затем снова раздались шаги Хозяина. Чувствовалась какая-то стыдливая спешка, что-то упаковывалось, выносилось. Дом сначала ничего не понял, и, лишь когда послышались резкие торопливые удары молотка и наступила темнота, он забеспокоился, заволновался. Но ничего сделать не смог. Ни спросить, ни удержать. Наступила тишина. А Дом надеялся, он ждал, он верил.

Прошло лето, наступила осень. Никто не топил печь, никто не утеплял окна и стены. Мыши прогрызли ходы в стенах, ветер скрипел

открытой чердачной дверцей, сквозь пыльные окна едва пробивался дневной свет. Взамен запаха хлеба появился запах плесени, сентябрьские дожди размыли крышу, и в углу, где раньше стояла кровать Хозяйки, тихо закапала вода. Это плакал Дом. Он всё понял. Он умирал.

Собаки

Крупный пёс, по кличке Рекс, лениво дремал в тени забора. Жизнь у него удалась: от матери лайки ему достался светлый окрас и свободолюбивый характер. От отца, случайно забежавшего в нужное время овчара, – крупный размер. Если бы не он, то порода лайки осталась бы чистой, и охотиться бы Рексу сейчас в лесу за соболем или ещё каким зверем. А так, забраковав породу, отдали его просто сторожить дом. От чумки в детстве хозяева выходили, на цепь не сажали, и он свободно бегал по ограде.

Кроме него, была ещё одна собака: крупная овчарка Дана. Забитая и обиженная старыми хозяевами, она выросла трусливой и пакостливой. В этот дом она попала раньше Рекса и поэтому чувствовала себя хозяйкой. За все годы уже безоблачной жизни отъелась, но патологическое чувство голода, оставшееся от прошлого, заставляло её есть пищу жадно, без разбора, давясь кусками. Когда у Рекса оставался в чашке хоть малюсенький кусочек, она тянулась к нему и, если не могла достать, смотрела жалобными глазами до тех пор, пока хозяин, бурча, не подталкивал чашку поближе. Все куски она затаскивала в будку, там же вечно стояла её чашка.

Дана сидела на цепи постоянно. Вначале её изредка пускали побегать, но это оканчивалось бегством «в пампасы». Тогда собаку приходилось долго ловить, закапывать нарытые ямы, причём оклики и команды она не воспринимала абсолютно. И потом её даже на улицу, на травку, выводили с цепью. Хозяин уже подумывал от неё избавиться, но, учитывая желания кобеля, всё оттягивал с решением.

Щенков они рожали два раза в год. А всё начиналось со спектакля. Дело в том, что Рекс был ревнив. Ревнив до визга, до голодовки, до жути. Как только Рекс улавливал от Даны флюиды готовности к любви, он не отходил от неё ни на шаг: загонял её в будку, забирался туда же

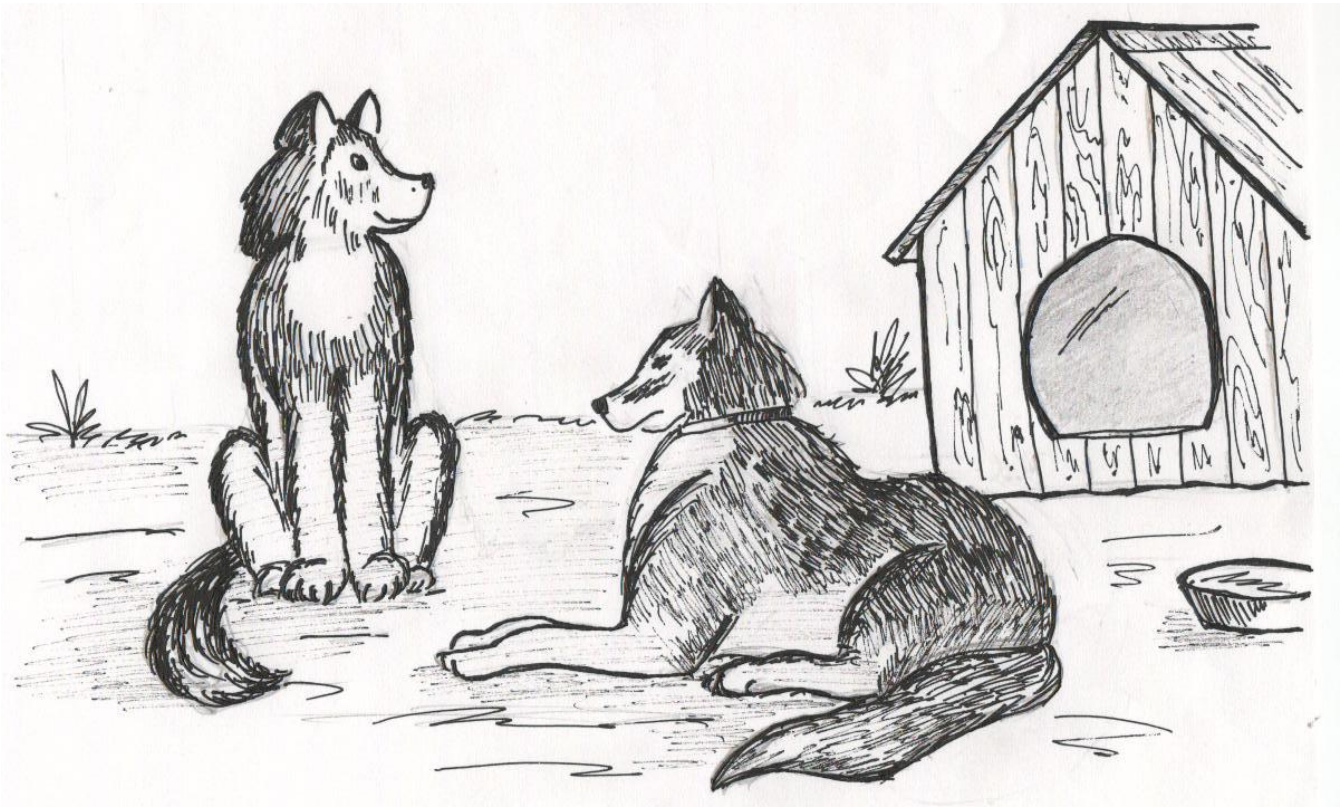
сам и закрывал выход, не выпуская супругу оттуда. Он караулил, когда она ела, караулил, когда она спала, он сидел около будки ночью, охраняя её. Засыпал сидя, и голова его потихоньку опускалась всё ниже и ниже. Чуть не падая, он просыпался, резко вздрагивал, оглядывался по сторонам, и снова начинал подрёмывать. Если кто-то проходил мимо Даны, он с повизгиванием старался заслонить её от проходящего, покусывал за холку, теснил телом. Она была только его!

Хозяева, наблюдая за собаками в окошко, смеялись:

– Ну, ты посмотри на него, весь на измене!

– А если бы тебе только два раза в год разрешалось исполнить свой супружеский долг, ты бы тоже так же прыгал!

Проходил период, собаки успокаивались. Дана становилась всё вальяжнее, степеннее, раздавалась габаритами. Рекс, похудевший за время вынужденной голодовки, отъедался, отсыпался. Он теперь не сходил с ума от ревности, просто играл с Даной, чистил ей уши, облизывал морду, шерсть. Обихаживал. Та довольно щурилась, чувствуя себя на верху блаженства. Впрочем, это не мешало ей иногда и огрызаться, показывая свой нрав. А Рекс прощал ей эти капризы, как любящий мужчина прощает своей избраннице.



Собачья семья и пакостила вместе. Зимой или осенью, когда, случалось, Дану спускали с цепи, они лазили по соседским огородам. Причём, когда Дана зависала на калитке, Рекс, со своей природной сообразительностью, просто подталкивал её с этой стороны под зад. А когда она лезла обратно, подтягивал за ошейник. Этот фокус надо было видеть своими глазами, иначе поверить в него просто невозможно. У Даны вообще была способность именно лазить, а не прыгать. Как овчарка, она должна брать барьеры с разбега, но, так как её никто не учил этому, а кровь требовала, она искала варианты. Ей ничего не стоило перепрыгнуть забор, предварительно забравшись на крышу автомобиля или старый стол. Вот за это она и сидела на цепи, которую уже дважды рвала.

Обязанности отца Рекс выполнял с удовольствием. Когда щенки начинали расползаться по ограде, часто можно было видеть такую картину: Рекс лежал на спине, щенки лазили по нему, кусая за морду, играя с хвостом. Папашка довольно щурился, скалился, терпеливо перенося все это. Когда приходили за щенками, Рекс, в отличие от Даны, рвался из-за загородки, куда его загоняли в этот щекотливый момент, лаял то угрожающе, то с жалобным визгом. Позже, освободившись, он покусывал супругу, как бы упрекая её за неубережённых детей...

Тень уползла в сторону, и кобель встал с нагретых досок. Покосился на Дану: та, в ожидании материнства, вырыла очередную яму, улеглась на сырую землю – видно, так ей было легче. Рекс повёл ушами, понюхал воздух: за оградой опять шли два человека, проходившие вчера уже несколько раз. Они не жили рядом, они были чужие, и запах от них шёл тоже чужой, грязный, с примесью угрозы. Вчера они подходили к калитке, позвонили, но хозяева днём были на работе, и Рекс с лаем кинулся к подворотне: «Не лезь! Я охраняю!». Потоптавшись, они ушли, на прощанье сквозь дырку в заборе осмотрев ограду. И вот сейчас они снова шли по улице. Рекс злобно залаял, предупреждая об опасности. Улица была односторонняя, на окраине городка, но невдалеке стояла железнодорожная эстакада, где круглосуточно дежурили проверяющие вагонов, ночью всегда горел прожектор, и хозяева как-то и не беспокоились. С одной стороны соседи жили постоянно, а с другой была дача, там никто не жил и приезжали только по огородным делам. Но зато и забор был повыше.

На этот раз двое как раз и подошли к пустующему соседнему дому, открыли старенькую калитку. Собаки рвались на чужаков,

захлёбывались в лае, им вторили собаки округи. Но улица, пустынная в полдень, никак не реагировала на переполох: жители, малочисленные на этой улочке, привыкли к пустобреху.

Два парня, по виду типичные безработные наркоши, появившиеся со стороны дачи, взгромоздились на забор. Теперь их с улицы было не видно. Они знали, что дача необитаемая, а в этом доме все на работе. Две собаки, одна на цепи, другая, свободно бегающая, не остановили их: ну, та, на цепи, не в счёт, далеко, а для второй есть металлические пруты.

– Лёх, давай, ты с угла прыгай, а я отсюдова. Она – к тебе, а я – сзади. Забьём на фиг, а та пусть лает.

– Слышь, Бекас, а та-то пузатая! Они злые в это время!

– Ну и хрен с ней. Прыгай!

Первым спрыгнул Лёха. Прижавшись спиной к забору, он медлил наступать на собаку и просто беспорядочно махал перед собой арматуриной. А Рекс не кидался необдуманно на врага, а, припадая к земле, оскалившись, рычал. Жёлтые глаза, сузившееся от злобы, следили за руками, просчитывали атаку. Бекас, чуть замешкавшись, тоже спрыгнул с забора и уже было рванул на помощь подельнику, как Дана, порвав старое истёртое звено цепи, огромными скачками кинулась на него. Помогать Лёхе было уже поздно. Развернувшись, Бекас с размаху опустил тяжёлый металлический прут прямо на голову собаки. К сожалению, удар был точен и силён… Дана завизжала, закрутилась на месте. Второй удар, попавший в спину, сбил её с ног, перебил позвоночник. Визг перешёл в поскуливание, Дана уже практически в агонии, скребла лапами землю. Её бока заходили ходуном: так и не рождённые щенки, звериной интуицией почуяв беду, забились в животе.

Рекса захлестнула волна ненависти, и он в прыжке рванулся к Лёхе. Зубы с силой сомкнулись на руке. Прут выпал – брызнула кровь. Второй укус пришёлся ближе к шее, визг заглушил хруст сломанной ключицы. Упав на четвереньки, не переставая визжать, Лёха закрывался здоровой рукой. Но Рекс и не стал его загрызать насмерть. Как бы поняв, что этот уже не соперник, он бросил его и, повернувшись к Бекасу, приготовился к прыжку. Перед ним был зверь. Рекс ни разу не видел лесного зверя: ни медведя, ни волка. Он вырос в городской ограде, в запахах бензина и людского жилья. Но сейчас весь его охотничий инстинкт, все его материнские гены однозначно кричали – перед ним зверь. Зверь, убивший его детей и жену, лишивший его

простой собачьей радости, напавший на имущество его Хозяина. И долг Рекса – выйти победителем в борьбе с этим зверем.

Бекас испугался. Секундная расправа пса с Лёхой отрезвила его. Какое поживиться, здесь пора было уносить ноги. Выставив прут перед собой, Бекас стал пятиться к калитке, не отводя взгляда от пылающих глаз кобеля.

– Лёха, слышь, ты, козёл, вставай, линяем отсюда! Открывай ворота, сожрёт ведь на фиг!

Лёха, подвывая, оставляя следы крови на заборе, приподнялся и стал шарить по калитке, отодвигая щеколду. Это их спасло. Был бы замок, навряд ли они смогли бы открыть дверцу. Первым на улицу вывалился Лёха, прикрытый Бекасом. А Бекас, на долю секунды отведя взгляд от собаки, чтобы взглянуть, где выход, пропустил прыжок Рекса. Он всё равно успел уже в полёте ударить собаку по боку, но удар не остановил пса. Рекс промахнулся: вместо горла он рванул бок убийцы, и тот, бросив арматурину, вывалился на улицу. Ума хватило захлопнуть калитку, ручка-защёлка заблокировала дверь.

– Уроды, развели псарню! Да не вой! Мне тоже попало! Пошли в кусты куда подальше, перевязаться надо. Бешеные псы!

Схватив камень, Бекас в злости кинул его в окно. Звон разбитого стекла только подстегнул лай всех собак в округе. Покусанные грабители, хромая и матерясь, заторопились от места нападения.

Через два дома сосед, отсыпавшийся после ночной смены и проснувшийся от лая собак, вышел, увидел хромающих уже вдалеке парней, набрал номер телефона:

– Слышь, Серёга, что-то у тебя переполох дома.

Приехавший через десять минут хозяин, зайдя в ограду, увидел вытянувшееся тело Даны. Уткнувшись носом в остывший бок, пёс неподвижно лежал рядом. Его жёлтые глаза смотрели в никуда...

Через неделю Рекса, вывшего каждую ночь, так и не притронувшегося к еде, похоронили рядом с семьёй...

Падучая

Сознание билось в черноте, натыкаясь то на какие-то стены, освещенные багровым огнём, то на ужасные страшные морды невиданных чудовищ, то обрушивалось в бездну. Сердце замирало на

вздохе и тут же, чуть не разрываясь от боли, билось о грудную клетку. Белки закатившихся глаз жутко серели из-под густых чёрных ресниц, по щеке текла сукровица из прикушенного языка, руки, стянутые судорогой, с дикой силой напрягались, делая хаотичные движения.

– Ваня, Ваня, приходи в себя. Ваня, Ваня!

Антоновна, выскочив из дома голоногая, в одних тапочках, стояла на коленях перед сыном, держа его голову руками. Приступ подкосил его как всегда неожиданно, закрутив тело по спирали и с размаху бросив на землю. Ещё хорошо, что сын упал на чистое место, а не на чурки или кирпичи, сложенные в углу ограды. За десятилетие болезни было всякое: и с лестниц падал, и в кровь разбивал лицо об асфальт, да так, что выла она воем над ним посреди дороги, не видя обступивших их людей. Дважды сын опрокидывал на себя кипящий чайник: один раз полупустой на ногу, а вот второй раз – полный и прямо на голову. Хоть и смягчили ожог отросшие густые волосы, но без содрогания нельзя было смотреть на лицо, на котором маской ужаса висели коросты кожи. Слава Богу, хоть глаза не выжег себе, а вот на руках до сих пор остались выболевшие рубцы. Никаких бинтов не хватало на него, разорвала тогда старые простыни. Сын спасался только юмором: «Ну, я теперь любую мумию сыграю!» Ловить его не всегда удавалось. Иногда, даже стоя рядом, не успевали поймать, протянуть руки, подхватить враз ставшее каменным тело.

Собаки, своим звериным чутьём ощутившие приступ эпилепсии и раньше лаявшие взахлёб, сейчас скулили рядом, тыкаясь мокрыми носами в спину. Антоновна гладила лицо сына, растирала затылок, оттягивала ворот рубахи:

– Ваня, сына, давай, возвращайся! Ваня, Ваня! Дыши! Дыши!

Она твердила сыновье имя в надежде, что оно, как маячок, поможет душе вернуться назад, в тело, чтобы сознание нашло выход из темного тупика, чтоб он как можно быстрее пришёл в себя. А ещё, наверное, потому, что в данный момент она мало чем могла ему помочь...

Приступ стал слабеть, судороги всё реже корёжили тело, тёмно-синие Ванькины глаза, хотя ещё и невидящие, с сильно расширенными бездонными зрачками, выплыли из-под век, к щекам возвращалась жизнь. Спутанное сознание показывало ему картинки из детства, из фильмов, доносило какие-то звуки, голоса, тело парило в пространстве, но не свободно, а словно кто-то его выкручивал, ломал, гнул и тянул в разные стороны. Ему хотелось высказаться, выплеснуть

накопившееся, недоговорённое, доделать недоделанное, убрать то, что причиняло боль. Язык ещё не повиновался ему, звуки получались бессвязные, непонятные, сквозь слова прорывался смешок, мелкий, безобидный: так смеются над собой, понимая мелочность ошибки. Руки хаотично что-то счищали с одежды, царапали, хватали мать за пальцы. Сердце сумасшедше бешено колотилось, но дыхание уже становилось без хрипов, помаленьку выравниваясь. Антоновна ворошила ему волосы, теребила, пыталась приподнять с промёрзшей ноябрьской земли тяжёлое непослушное тело, посадить, затянуть к себе на коленки, переживая, чтоб хоть почки не застудил.

Глаза наконец-то сфокусировались на матери:

– А? Что? А я полежу, – и улыбнулся такой беззащитной детской улыбкой, какой улыбаются лишь маленькие дети, рано поутру распахивающие свои глаза навстречу очередному дню жизни: – А мне хорошо…

Мать заплакала. Заплакала от невыносимой боли за своего ребёнка, пусть уже взрослого, но больного, от своего бессилия ему помочь, от невозможности вырвать эту чёрную болячку и облегчить его страдания. Можно было бы – легла бы рядом! И пусть бы уж её так колотило! Ей казалось, что она бы смогла победить болезнь, выстоять в этой борьбе с падучей...

До восемнадцати лет Иван и не болел чем-то серьёзным: то ключицу сломает, то палец на ноге придавит. Простывал и то редко. Уже и комиссию перед армией прошёл. Признали, что годен...

А за два месяца до восемнадцати стукнуло его первый раз. С друзьями грядки на даче копал. Может, от жары, может, ещё от чего, но швырнуло его на землю и забился он в судорогах, пугая мальчишек... Они со страху и Антоновне не сразу рассказали. Потом его у сестры прихватило. Та скорую вызвала. Увезли его в неврологию, напичкали там лекарствами. Когда мать приехала, сын и имя своё не мог сразу вспомнить. Так и пошло: почти день в день раз в месяц стали Ивана бить судороги. Скорая сначала отвозила его в отделение, а потом и забирать не стала – укол поставят и всё. Года через четыре ей люди подсказали, что по эпилепсии ему инвалидность положена, да что в областном городе центр есть специальный, эпилептологический. Спросила она лечащего врача, почему, мол, раньше их не направляли, на что тот равнодушно сказал: «Ну, съездите».

Инвалидность ему оформили, но с лечением ничего хорошего не вышло. От лекарств ему становилось хуже, приступы участились и,

хоть и меняли лекарства одно на другое, дошёл Ванька с ними до дрожания рук, до изматывающей диареи, до постоянного невыносимого желания сходить в туалет. Практически из дома выйти не мог... А после того, как желтеть начал, со скандалом Антоновна добилась отмены лекарств. Хоть приступы и не прошли совсем, но стали пореже, да и общее самочувствие стало нормальным. Вот на перемену погоды реагировал сильно головной болью, плохим настроением да общей вялостью. Вертели его врачи, смотрели снимки, анализы, да ничего не могли толком сказать. «Сложная болезнь, до конца не изучена...» Вроде спаек, опухолей и каких-либо других отклонений в голове нет, а от чего... Непонятно. Стресс – вот и всё. А у него как бы всё спокойно в жизни было.

Бабушки да народные целители разное говорили. Один утверждал: «Это вы наследство делили», другой: «Это у вас по отцовой линии проклятье», третья как затряслась: «Дьявол в него вселился!» Да только помочь никто не смог. И редко кто честно признавался: «Только сам, если займётся своей энергетикой, сам выправит её, уберёт зажим – уйдёт и болезнь. Ну, или ищите сильного биокорректора». А кто это такой и где ты его найдёшь в захудалом провинциальном городишке? А сын устал лечиться, устал ходить по очередям поликлиники, устал надеяться... Сильно его напрягало то, что он, молодой, внешне здоровый парень, не мог ни устроиться на работу нормально, ни водить машину, даже в реке поплавать для него было опасно.

Иногда Ванька срывался. Редко, правда, но напивался до слёз, до скандала. В такие моменты трудно ему было что-то сказать, удержать дома. Его несло куда-то к друзьям, по каким-то делам, а то порывался что-нибудь с собой сделать, то грозился вообще уйти из дома, то плакал наболевшими слезами. А мать ждала его и по ночам молилась, чтоб сын не попал в новую беду...

Антоновна вытерла слёзы, поправила Ивану задравшуюся куртку:

– Всё-всё, Ваня, вставай! Пошли домой.

Напрягая силы, помогла сыну подняться, удерживая тяжёлое тело. Иван пошёл потихоньку, не осознавая ещё себя до конца, автоматически переставляя заплетающиеся ноги, стараясь на ходу что-то посмотреть, потрогать, как бы вновь всё увидев. Мир открывался перед ним как с чистого листа, всё казалось необычным, новым, ранее не встреченным...

Дома мать с трудом сняла мокрые от снега куртку, рубаху, брюки, положила сына на диван, прикрыла потеплее. Сейчас он поспит и снова встанет как бы здоровым. Он забудет приступ, что было перед этим, что после. Это время будет стёрто у него из памяти. Он будет недоумевать, почему болят мышцы и тело. И Антоновна расскажет ему. И впереди будет две-три недели, а посчастливится, то и месяц-полтора нормальной жизни до очередного приступа. И Антоновна снова будет молить Бога и всех святых о выздоровлении, или чтобы приступ случился дома, при ней, или чтобы кто-нибудь оказался рядом, чтобы сын не разбился, не обжёгся, не пострадал...

Таёжный чай

Осень уже уступила свои права зиме, первым заморозкам, первому снегу, выпавшему на той ещё неделе столь плотным слоем, умятым сразу по-зимнему сильным ветром, и мысли не было, что он растает. Улицы небольшой деревушки опустели. Родительский дом с покосившейся крышей с прошлого года стоял закрытый на символический замок и с обидой брошенного ребёнка глядел на божий свет маленькими окнами. Илюха открыл дверь. В сенях, со света не разглядев, пнул что-то попавшееся под ноги и вошёл в избу. Свет загорелся сразу, хоть и был тусклым. Стол, буфет, две табуретки, старые куртки на вешалке, сапоги в углу – всё осталось нетронутым. Было ощущение, что смотришь старую фотографию.

Илья скинул рюкзак, поставил сумку на пол, разделся и стал хозяйничать. Первым делом затопил печь, подмёл старым веником полы, прохлопал одеяло. Ценного в доме ничего не было, даже старые альбомы были вывезены вместе с матерью к сестре в город. Мать долго не соглашалась уезжать отсюда, но её всё-таки уговорили. Сестра жила с мужем в большом доме, и муж был хороший, спокойный, к тёще с уважением относился, но матери тяжко было бросать своё гнездо, как она выражалась, ехать в чужой угол. А у Ильи семейная жизнь уже дважды не сложилась, и он был сейчас в свободном полёте, в поисках очередного семейного счастья. Очередное семейное счастье маячило на горизонте уже три месяца,

но варить и стирать на взрослого мужика как-то не торопилось, видно, само находилось в таком же поиске.

Если получалось, как вот нынче, Илья всегда старался осенью приехать в деревню. Побродить по лесу, по реке. Как он говорил друзьям, кстати, без иронии и глупой ухмылки, окунуться в детство. Он вырос здесь, любил свой дом, своих родителей, ему здесь всё нравилось, ему было что вспомнить из своего детства. Он и мать бы к себе забрал, если бы из-за разводов не растерял свои жилплощади и под сорок лет не оказался в маленькой однокомнатной квартирке. А сюда сбегал от шума города, проблем и приятелей, которые, сами будучи семейными и привязанными к юбкам жён, считали своим долгом приходить к Илюхе с бутылочкой чего-нибудь крепенького. Поплакаться. Не всегда, конечно, доходило дело до пьяных слёз, иногда эта была хорошая пирушка с музыкой и песнями до стука соседей за полночь.

Спать Илья лёг со смешанным чувством жалости и радости. Тишина была непривычная – не шумел холодильник, не тикали часы, не стучал коготками кот. Даже лай пса где-то на краю деревни был чужой и далёкий. Но сон, помелькав обрывками воспоминаний и дневных картинок, пришёл сразу, крепкий, глубокий.

С утра, попив чаю с городскими припасами, взялся Илья за снаряжение. Лыжи были ещё крепки, камус не вышоркался, тёплая одежда вся лежала в сундуке целенькая, молью не побитая. Илью всегда интересовал этот вопрос: почему в городе моли больше? Вроде в деревне, наоборот, шерсть натуральная, есть чем питаться этим пронырам. Так ведь нет, в городской квартире на антресоли положить что-то бесполезно: всё будет источено за самые короткие сроки в мелкие дырочки! Огорчили только валенки. Вытащив их из кладовки, Илья обнаружил на одном из них приличную дырку. Мышки баловались! Он поколупал пальцами дырку, хмыкнул, сунул валенки в мешок: потом пойдёт к деду Степану за ружьём, он и подошьёт. Оружие Илья оставлял у соседа, чтобы не возить из города в деревню.

За готовкой обеда пролетело время, и с гостинцами, и с валенками Илья попал к деду Степану часа в три. Встречи дед обрадовался, Илью знал с пацанов, есть что спросить, есть о чём поболтать. Повертел валенок:

– Да, сейчас не получится сразу подшить, дратва кончилось. Но ежели не торопишься, то сиди, жди. Это у вас в городе для таких

вещей корд из шин выпарывают, а здесь вот такая мутотень получается – вручную всё надо. Как наши деды делали.

– Подожду, куда мне торопиться – впереди ещё неделя, успею.

– Ну и ладненько. Чаю хошь? Наливай сам! Моя старушка вон в печали, разгрипповалась!

– Ну ты что ж меня списываешь? Мне ить тоже хочется на гостя посмотреть! – раздался голос из маленькой спаленки. – Вот так всегда, только приляжешь – сразу и списывают со счетов!

Из комнаты вышла маленькая старушка с детскими кудряшками надо лбом, чистенькая, аккуратненькая, как из доброй сказки, глазами заголубела:

– Илюшечка, какой ты уже взрослый! Большой, и голова уже почти вся седая! А ведь тебе ещё и сорока нет, однако?

– Девки его довели! – хихикнул дед Степан. – На детей вон не успевает зарабатывать!

– Что, много уж настрогал? – баба Поля погладила жесткие Илюхины волосы.

– Да нет, баба Поля, всего одна дочь. Уж большая, да редко видимся. Увезла её первая жена, со вторым мужем уехала в Кострому, вот только по интернету и общаемся. Прошлым летом и видел последний раз.

– Ну-ну, мы-то вот всё больше писем ждали в разлуке! А сейчас, видишь, какая благодать: и увидишь, и услышишь.

Дед Степан тем временем достал катушок крепких ниток, кусок вара на куске шлифовальной шкурки, нож-косяк да шило. Закатал рукав рубахи на левой руке, растопырил пальцы и стал мотать нитку на руку: от пальца большого через локоть и дальше, поочередно пропуская нить между остальными пальцами. Нитка наматывалась на руку, оплетая её, как паутина; мелькали руки в странном танце. Намотав одному ему понятную меру, дед Степан разрезал у большого пальца нитки, сунул в руки Илье кончик и стал разматывать – с руки потихоньку размоталась длинная, в несколько раз сложенная нить.

– Ну вот, сейчас скрутим, варом намажем, мылом намылим и будем шить!

Илья с интересом наблюдал за стариком. Дед Степан был в ногах и руках худощав, лицо – зубы сквозь щеки можно сосчитать, а вот животик, кругленький, плотненький, натягивал рубаху с полным ощущением подложенной подушечки. Дед и войну застал, и кем только не работал, и где только не был, и, хоть и был без образования, слыл в

деревне знающим, начитанным и умелым мужиком. Седину свою он сбривал налыску, согнулся уже немного от пережитого, но был подвижным, спорым на ногу. При мелкой работе цеплял очки на хрящеватый нос. Жену свою уважал, любил; ежели чужих баб и зажимал где в уголке, то без последствий, как он сам говорил: «Для имиджу». Знал множество всяческих баек, анекдотов, историй, мог их рассказывать бесконечно. Матерился очень художественно, но не грубо – его маты были не злыми, не агрессивными, а наоборот – смешными, образными, необидными. Их хотелось слушать как музыку, щурясь от удовольствия. Эдакие словесные кружева! Дед смеялся: «Это меня Тимка Пуртов научил! Ты б его послушал! Поэт!»

– Что косишься на меня? Соскучился?

– Соскучился! А смотрю просто, дед Степан, вот думаю, а почему вы худой, а живот кругленький?

– Ха, сказал тоже – живот! Это сгусток нервов! От надсады это, милок! Жили-то впроголодь, да и много нас было. Ворочать по хозяйству с малолетства пришлось, а вечером живот капустой набьёшь да картошкой, да ещё не жуя, торопишься! Там младше меня росли – было кому лопать! Вот брюхо и растянул, и пуп вылез. Так что по крупному счёту это не пузо, это пуп у меня!

Дед Степан хитро взглянул поверх валенка, выравнивая обрезок старого войлока на подошве, снова запустил руку внутрь, на ощупь цепляя дратву на шильный крючок, затянул шажок. Подшивал он не торопясь, но споро, мастеровито, руки делали своё дело легко, без суеты.

– Ты-то что, себе каку бабёнку не нашёл ещё?

– Да уже не тороплюсь. Наобжигался.

– Ну, братец, крест-то на этом деле рано ставить.

Илья засмеялся:

– Крест-то не ставлю – жениться не тороплюсь!

– Вы, молодые, видно, жену себе выбирать не умеете! Вона, сколько вас холостых да интересных! Да и бабы все по-одиночке дитёв ростят.

– А как вы, дед Стёпа, женились? Ведь всё жизнь прожили.

– Как, как! С мужиками поспорил! На первое мая на демонстрацию сходил!

– В смысле?

– А что в смысле! Идём на демонстрации с корешами, а впереди такая деваха кренделя выписывает! Ну, я и говорю: «Спорим,

женюсь?» Ну и поспорили. Подхожу к ней: «Слабо за меня замуж выйти?» А она: «А вот и не слабо!» Пошли и расписались. В то время ЗАГСы первого мая работали, и можно было сразу расписаться, кому уж очень невтерпёж. Вот и живём!

– Правда, что ли?

– Не веришь, спроси у Полинки. И штамп в паспорте стоит «Первое мая».

– Да уж, сходили на демонстрацию!

– Да я что! Мне вон Мишка Кедров рассказывал, что, когда в сельсовете работал, взял Зойкин паспорт, печать о регистрации поставил, пришёл к девкам и Зойке говорит: «Зойка, пошли жить со мной!» Та ему: «С чего бы это?» «Как с чего? Жена ты мне!» – и паспортом трясёт, мол, посмотри. А время-то было какое – против власти не попрёшь. Вот и прожили всю жизнь. Да, видно, нравилась жизнь – одиннадцать детей настрогали!

Дед Степан повертел подшитый валенок с торчащей нашлёпкой и, искоса взглянув на Илюху, косяком взялся срезать лишнее.

– Это вы что-то всё примеривайтесь, пристраивайтесь. Сами не верите, что навсегда женитесь. А в наше время как? Женился – живи! Устраивайся, да пристраивайся на здоровье! Ответственность была! За детей, за семью!

– Ну уж, и на сторону не ходили?

– Как не ходили – ходили! Одиноким тоже кусочек счастья отхватить хочется! Но домой возвращались!

Так за разговором и работой время пролетело до сгущающейся синевы за окном. Пока баба Поля напоила чаем с лепёшками, пока потрепались про городское жильё да деревенское – кто уехал, кто помер, кто женился – стемнело окончательно.

– Что, завтра с утречка побежишь?

– Да, схожу к избушке, заночую да назад. Избушка-то стоит?

– Стоит ещё, здесь её грабить некому. Город далеко. Витька летом там был, подшаманил чуть-чуть. Свечей возьми, нет, наверняка. Пешком не ходи, лыжи возьми. Там хоть в лесу и мало снегу, но на дорогах и пролесках сподручнее будет. Снег уже на зиму лёг.

Дед вытащил Илюхино ружьё, боеприпасы, проводил его за калитку. Деревня устраивалась на ночь, зажмуривая редкие окна, укутываясь тишиной. Эта тишина всегда удивляла Илью. Нет такой тишины в городе. Там даже ночью всё равно где-то что-то брякнет, проедет, прогудит. А здесь была её Величество Тишина. Полная,

глубокая, обволакивающая. До того уютная, успокаивающая, что хотелось свернуться клубочком здесь же, в ещё маленьком сугробе, или просто застыть посередине улицы и слушать, слушать эту тишину, боясь даже лёгким скрипом нарушить её. Тишина не давила, наоборот, она поднимала душу, давала ей крылья, заставляя подняться над деревней, лесом, туда, ввысь, к тёмному небу. Огрызок луны высвечивался сквозь редкие тучи, темнели дома, постройки, деревья. Илья вздохнул, улыбнулся сам себе и неспешно пошёл к своему дому.

Странно ему было ночевать в родительском доме. Нет, ему было уютно, спокойно, даже одеяло пахло ещё не забытым запахом детства. Ему чудились материны шаги на кухне, отцовское покашливание, казалось, что сейчас зазвенит будильник, запахнет жареной картошкой, сестра, будя в школу, затормошит его. Илья кинул поверх одеяла старый полушубок – к утру дом выстынет – и лёг. Панцирная сетка, жалобно заскрипев, провисла под ним, принимая его в свои объятия. Снилось ему лето, снилась река, и он, маленький, тощий, с поцарапанными коленками, брызжется водой с такими же пацанами...

В путь Илья двинулся уже засветло. Ему не надо было торопиться, бежать за зверем, выслеживая его. Он просто шёл на встречу с лесом, на встречу с детством. Он любил такие вот походы, первобытное состояние природы, себя среди всего этого. Побывав в лесу осенью или в начале зимы, он потом до весны чувствовал себя сильным, здоровым, отдохнувшим. Ему просто надо было побыть одному, в тишине, попить чаю, вскипячённого на костре, и, как он сам говорил, причесать мысли. Отстраниться от проблем, тяжёлых перетераний жизненных ситуаций. Он уже убедился – в такие минуты решения приходили самые правильные.

Лыжи бежали не совсем легко, снег ещё не примялся, лыжня ещё не проторена, но без них было бы совсем несподручно. Снег в одних местах лежал плотно, достаточной глубокий, а в других был выдут ветром до сухой травы. День был серенький, стоял лёгкий морозец, дул умеренный ветер. До избушки надо было идти километров пятнадцать, впереди – целый день, торопиться некуда.

Илья углубился в лес, посматривая по сторонам, дыша чистым хрустящим воздухом. Это даже дыханием назвать нельзя было – воздух сам лился в лёгкие. Его свежесть, чистота ощущалась всеми клеточками тела. И с каждым вздохом уходила из души горечь последних лет и проблем.

Лес стоял вокруг ещё не замерзший, берёзы и сосны не были укутаны снегом, лишь на еловых лапах последний снегопад оставил маленькие снежки. Под большими елями виднелась земля, не занесённая сугробами; да там и среди глубокой зимы можно было найти кусочек сухой травы. Редкая синичка цвинькала, вспархивая с ветки на ветку, поглядывая на Илюху; краснел шиповник, ещё никем не объеденный и не общипанный. Где-то далеко трещал дятел. Больше тишину никто не нарушал, лишь одежда шуршала при движении.

Илья запарился довольно быстро. Сказывались полусидячая работа, редкие хождения пешком, да и возраст откладывался на боках жирком. По спине уже бежала струйка пота, щекотливо пробираясь по ложбинке вниз. Конечно, по накатанной лыжне было бы спорее, да не в этом дело: Илья никуда не опаздывал. Он знал, что дальше, в соседнем распадке, есть ручей, там он и сделает привальчик.

На вершину горы он забрался совсем выбившийся из сил. Лыжи пришлось снять: в лесу, среди валунов, где снега было мало, они только мешали ходьбе. Тайга притихла перед ним в распадке, топорщась деревьями. Склоны были местами зелёные от сосен и елей, местами чернели берёзами. Снег уже лежал внизу плотным белым сугробом, который прочерчивала чёрная кривая ручья. Местам ручей прятался в сугробе, местами выныривал наружу. Серые тучи придавали всей открывшейся картине некую мрачность, напряжённость. Природа как бы замерла перед зимой, затаилась, приготовилась к буранам и метелям.

Илья присел передохнуть на валежину, смахнув снег с сосновыми иголками. Из трещинки коры закачалась, зазеленела маленькая веточка брусники. Глянцевые листья не потеряли свой цвет от заморозков, лишь только чуть-чуть стали темнее. Уставшие ноги тянуло в мышцах, щёки горели от пота и ветерка, сердце бухало устало. Илья чувствовал себя на вершине горы, как на вершине мира: только он, только весь мир внизу, под ногами, а вверху – небо! Огромный купол, серый, в тучах, в редких бледно-сизых прогалинах, нависал над распадком. Илье казалось: подпрыгни чуток – и сможешь рукой потрогать тучи, раздвинуть их в стороны, очистив зимнее голубое небо! Такое чувство было у Ильи только в детстве, когда он забирался на самый конек крыши. Да и сейчас Илья вдруг почувствовал себя помолодевшим...

По остывшей спине пробежал холодок – пора двигаться дальше. Спуск прошёл более-менее удачно: всего один раз Илья поскользнулся, ударился коленом, хорошо хоть без последствий. Внизу тихо журчал ручей, сопротивляясь ледяным заберегам, чернея тёмной стылой водой. Это был даже не ручей, а мелкая речушка, приток со странным названием Соломинка. Бившие ключи дали ей жизнь, вот она и старается, рвётся сквозь кусты, набираясь сил, всё дальше и дальше, чтобы впасть, влиться в более крупную реку. Настырность помогала ей в этой нелёгкой борьбе за выживание – только в сильные морозы она покрывалась льдом. Внизу по течению

речушки и стояла избушка, куда направлялся Илья. Остаток пути он прошёл, снова нацепив лыжи, уже торопясь к месту ночёвки. Пока расчистит, пока затопит, а вдруг там что-то налаживать придётся или пойдет что-нибудь не так, а в темноте много ли сделаешь.

Тихо пошёл снег. Илья остановился, запрокинув голову, взглядом стал ловить снежинки. Крупные влажные хлопья неслышно падали с неба, из серой бесконечности, таяли на разгорячённом лице, цеплялись за ресницы. Никак не удавалось уследить за тем моментом, когда снежинка выныривала из небытия. Вот её не было, а вот она уже перед глазами. Распадок спрятался в снежной занавеси, тишина была такая глубокая, что казалось: единственный звук – это шуршание падающих ледяных кристалликов...

Избушка оказалась целой. Действительно, народ здесь редок, даже вездесущие туристы, видно, не знали о её существовании, а местные берегли информацию. Дрова были в чурках, высохшие, хоть и под дырявым навесом. Илья расчистил фанериной снег перед входом, наколол дров, сходил за водой на ручей. Плечи после тяжести рюкзака и ружья свободно расправились; снежная сказка вокруг и мысли притягивала сказочные. Думалось, сейчас из-за берёзы выглянет смешливый снеговичок-лесовичок, или из-за угла избушки появится повозка Снежной королевы.

– Ну, вот мне сюда ещё снежной женщины не хватало! – вслух засмеялся Илья своим мыслям. И потянулся крепким телом, подумав: «А что, пошла бы со мной сюда, в таёжную глушь, по такой тропе, в эти «антисанитарные условия» его городская пассия?» А ведь если б пошла, выдержала, не ворчала, то, наверное, женился бы он, поверил.

Печка немного подымила, попыхтела обраткой, да и разгорелась жадно, жарко. Илюха пристроил на ней здешний чайник; в своём котелке принёс воду на кашу, открыл банку тушёнки, очистил луковицу. Подмёл голиком пол, проверил нары – выдержат? Не завалятся ночью? Вышел, нарубил ещё дров на ночь и утро – в избушке тепло, пока топится железная печка. Зато и греется быстро. Вечер наливался синевой, ночной темнотой. Дым из трубы разгонял снежинки, нехотя поднимаясь ломаными зигзагами в небо. Илья не боялся ночевать в лесу один, без друзей, без собаки. В лесу, главное, чтоб самому не повредиться: ну там, не сломать ногу или чтоб болячка какая не хватанула, чтоб медведь-шатун не наткнулся. А людей в тайге зимой бояться странно – если кто и попадётся, то свой мужик-охотник. Это в

городе гораздо опаснее: неизвестно какую обколотую шантрапу встретишь за углом.

Зажжённая свеча, толстая, специально для длительного горения, разогнала по углам темноту, высветив торчащий мох, тёмные, топором тёсанные брёвна, незастеленный маленьких столик. Стёкла в оконце сразу потемнели, в них, как в зеркале, отразилось Илюхино лицо. Пламя свечи на фоне черноты заиграло радужным свечением, заискрилось: так, наверное, аура играет у какого-нибудь Будды. Разварившаяся гречка с тушёнкой, с луком так запахла, что Илья торопливо стал резать хлеб, доставать кружку под чай – ел он только утром, а есть хотелось уже очень сильно. «Ну, и аппетит нагулял!», – подумал Илья, черпая первую ложку. «Вот почему в городе такую же кашу и есть как-то не так, вкус не тот. А здесь, где зола попадет, где мошка или веточка какая – ну нет ничего вкуснее! А чай на костре? Сказка! Из лесной лужи зачерпнёшь при случае, шелупонь сдунешь, заваришь покрепче – и вприкуску! Или с карамелькой! Видно, дух природы вкус добавляет!»

С ужином он справился быстро. Ел кашу, ел, пока не почувствовал, что всё, хватит. А вот с чаем надо только неспешно! Подкинул полешко, сел у раскрытой дверцы, держа в руках большую металлическую кружку из новомодных, с двойной стенкой. Подарок второй своей жены. Если первый брак у Ильи был по молодости скороспелым (сейчас трудно разобраться вообще, была ли это любовь, или просто студенческая влюблённость, или просто пришлось жениться), то второй развивался вроде уже по всем правилам, никем не писанным, с приглядками, с чувствами, с объяснениями. Первая жена года через три, почувствовав зыбкость отношений, сначала поплакала, потом, найдя второго мужа, уехала с ним, забрав дочку. По ней Илья больше всего и страдал. Хоть она и маленькая была, когда разводились, но всё равно эта была его кровь, его кусочек сердца. Он по жене так не страдал, как по дочери, и с годами эта боль была всё горше. Тем более, что второй его жене Бог детей не дал, и она, за восемь лет превратившись из нормальной женщины в зацикленную залеченную бабёнку, решила уйти из его жизни. Что его тоже устраивало. Хотя если бы она осталась весёлой, бодрой и жизнерадостной, то он и не разводился бы. В конце концов, у него дочь есть, а материнскую любовь всегда можно направить на племяшей или творчество какое-нибудь. Или на него, любимого мужа! Илья разменял трёшку, жене приобретя хорошую квартиру в центре (всё-

таки он её жалел как человека, как женщину), а сам жил теперь в старой однокомнатной квартирке. Он был уверен в себе, в своих силах. Зарабатывал наладчиком на нефтекомплексе он неплохо. Ну, там года через два он улучшит свои условия. Если женится. Он не был пуританином, мужиком был видным, не алкашом каким, женщины глазки ему строили, он и отвечал, но выборочно. Илья хотел нормальную семью: с роднёй, с друзьями, с двойками сына, с дочериными бантиками, с плюшками по утрам, с ласковой любимой женой по ночам. Ну и пусть она там с возрастом и пополнеет, морщинки появятся – он тоже старости уступает, куда ж денешься! Зато он будет знать, что его руки желанны, ласки не противны, что дети переживают за папку, а там и внуки будут топтаться по спине. И он хотел такой жизни, простой, основательной, семейной. Ему не нужны были миллиарды, не нужна была власть, ему нужна была спокойная семейная жизнь, радость отцовства, глаза любимой женщины. Именно они, эти радости, были первоистоками всей жизни. И так хотелось просто жить, без стрельбы в телевизионных передачах, без убийств на соседней улице, без бомжей и насильников, без грызни на политическом олимпе. И было дико жаль, что жизнь становилась, наоборот, ещё более жёсткой, лживой, страшно неправильной.

Илья выплеснул шару[1] из кружки, поставил её на столик, качнув пламя свечи, и вышел из избушки. Снег перестал идти, тучи ускорили свой бег по небу, где-то над верхушками деревьев дул верховик, но здесь, в ложбине да в чаще, ветра не ощущалось, было тихо, спокойно, будто лес оберегал человека в момент его размышлений. Мороз был нежный, не кусачий, так, первая проба. Илья присел на чурку, опёршись спиной на стену избёнки, прикрыл глаза. Тишина и покой неслышно подошли, заполнили душу, внеся умиротворение и гармонию. Уходили прочь проблемы, нерешённые вопросы, отступала боль одиночества. Именно за этим Илья и шёл сюда, именно это он и хотел почувствовать, ощутить, пережить. Мы все частички природа, именно к ней мы и приходим поплакаться да залечить раны души...

Сидел Илья долго, не замечая течения времени. Мысли тягостные тихонько куда-то попрятались, уступив место лёгкому, светлому состоянию. «Причесались», – улыбнулся он сам себе, потянулся, взглянул на часы и зашёл в тепло избушки. Подкинул ещё в печку, подпёр маленькой кочергой дверцу. Снял валенки, приспособив их на

[1] Шара – использованная заварка.

торчащие из стены колья, чтоб просохли, не застыли на полу, и взгромоздился на нары, сдвинув ружьё к стенке. Свечу погасил, уже улёгшись; поёрзал, устраивая большое своё тело на лапнике, прикрытом старым чьим-то покрывалом, подоткнул куртку за спину и закрыл глаза. Усталость взяла своё быстро: Илья уже не слышал, как мышки скреблись, забираясь на стол поживиться крошками, как, ухая, пролетел филин над застывшим лесом. Он спал.

Ночью пришлось дважды вставать, подкидывать в печку: к утру мороз поджал по-серьёзному. Когда засветлелось в окне, Илья уже проснулся. Поставил чайник, разогрел остатки каши, позавтракал. Увидев следы мышкиных зубов на свечке, на пакете с хлебом, засмеялся – тоже жить хотят! Высыпал остатки крошек горкой на столе – пусть побалуются, зима длинная. Прибрал за собой, сложив аккуратно запас дров в угол за печку, оделся и вышел, подперев за собой дверь зимовья. Небо было высокое, солнце пробивалось сквозь кисею облаков бледным стылым пятном. Лёгкий ветерок обещал разогнать и эту преграду. Заря уже отцвела, уступив место дню. Мороз бодрил, хотя и не был по-ноябрьски свирепым.

Назад Илья шёл долго, отдыхал чаще. Вчерашний свежевыпавший снег спрятал след от лыж, прикрыл валуны, укутал кусты. Любая ошибка в выборе места для шага могла оказаться чреватой и опасной. На ручье, перед подъёмом на гору, Илья остановился. Не выдержал: желание развести костёр и вскипятить чай пересилило его опасения не вернуться затемно. Он быстро вытоптал площадку, наломал веточек, бересты, пристроил котелок с водой, разжег костерок. Пол-литра воды вскипели быстро, чай вышел запашистым, вкусным, обжигающе горячим в первые минуты. Карамелька топырила щёку, разбавляя сладостью горечь заварки, сухарик хрустел на зубах. Дым слегка щипал глаза, но Илья не отворачивался: ему будет приятно потом ещё долго вдыхать запах дыма, заплутавший в куртке, в свитере. Он старался запомнить и этот вкус чая, и этот запах костра, и красоту всего лесного окружения. Выплеснул остатки чая, остудил котелок и спрятал его в рюкзак, завернув в пакет. Ногой нагрёб снега на костёр, чтобы затушить его, и снова двинулся в путь.

– Вот скажи кому-нибудь, что я шёл в лес просто попить чаю – засмеют. А кто-то поймёт.

Голос звучал в тишине странно одиноко, звук не вписывался в лесную сказку. Вынужденное молчание не тяготило Илью, он считал:

иногда надо и помолчать. На подходе к деревни, километра за три, спугнул зайца. Не выдержали нервы у косого, когда Илья почти прямо на него наткнулся. Подпрыгнул бедолага резко и пошёл размашистыми прыжками в сторону, в глубинку леса. Илья даже ружьё не стал снимать из-за плеча – пусть бежит! Пугнул его свистом и заторопился дальше. Некогда!

Подошёл к первым постройкам в сумерках, когда солнце уже спряталось за горой. Хотя ещё не было темноты, в редких окнах зажигались огни, трубы курились дымом, собаки лениво лаяли. Деревня готовилась ко сну.

Дед Степан лопатой скрёб тропинку около дома.

– Дед Стёпа, ты что это на ночь глядя снег чистишь?

– Да это я себе заделье искал, тебя вот жду. Знаю, должон вернуться, вот и переживаю: вдруг какая-то русалка с ручья тебя умыкнёт!

– Да кому я нужен!

– Но, но, но! Не говори так! Такими мужиками раскидываться! Заходи, моя милая там драников напекла. Ждёт тебя. За дом не переживай – подтопил я его тебе, чтоб не замёрз совсем в одинокой постели!

Дед Степан пропустил Илюху в ограду, засуетился, открывая двери в сени. А Илюха... Что Илюха? У того защемило сердце: как всё-таки здорово, когда есть кому тебя ждать, переживать за тебя и печь драники...

Баба Ася

Баба Ася курит сигареты, вставляя их в старый пожелтевший мундштук. Курит она с войны и часто напоминает, чтобы не забыли положить сигареты и мундштук ей в гроб. Она маленького роста, сухонькая. Свою длинную густую косу недавно обрезала – заболели руки, и не стало сил прочесать волосы. На лице выделяется высокий лоб, маленькие голубые глаза, посверкивающие острыми льдинками за стёклами сильных минусовых очков. Образование у неё всего семь

классов, но баба Ася отличается эрудицией, начитанностью, знаниями многих областей жизни.

Несмотря на свой возраст (ей шёл девятый десяток), она молодёжь не хает повсеместно, находится в курсе их проблем, но любит иногда и поговорить на тему: «Молодёжь-то какова, и поступки, и слова!» Правда, при этом не обвиняет молодых во всех грехах. Речь ее с юмором, с присказками, зачастую и матерок вставит, но так, для связки, без злости; встречаются и новомодные слова и обороты. Это уж телевизор, бубнящий весь день, внёс свою лепту.

Баба Ася сидит у окна с книжечкой, с сигареткой, с остывающей чашкой чая, круто заваренного, но с молоком. Сидит поджав под себя одну ногу и держа вторую столбиком – по-бурятски. Взгляд устремлен в окно, на заснеженный огород и дома соседней улицы. Сизый дым от сигареты плавно тянется струйкой, окутывая ароматом бабу Асю.

– Любви не надо стыдиться – ею гордиться положено. И ласковых слов не жалейте. И уж без любви не соглашайтесь, блюдите себя. А то вон девки совсем охренели – уже в 16 лет, видите ли, не модно быть девочкой. Дуры, одним словом. Любовь как росток цветочный: чтоб зацвела, надо её вынянчить, душой выстрадать, уважением проверить. Вот тогда она и отблагодарит тебя. Радостью, желанием, долгой жизнью, верными чувствами. А вы, нынешние свиристелки, увидели – «ах, люблю!» – себе втемяшили, тут же – «какой он козёл!» – и разбежались. И потом – с видом светской львицы: «Да где она, эта любовь! Выдумали все». Да она от вас сбежала, чтоб вы ее не уханькали! Вам же лень ее растить, вас и в сексе, видно, только техническая сторона привлекает.

Дети у бабы Аси выросли, внуки – тоже. Живут кто где, но заходят, помогают. В основном она сама справляется с топкой печи, с варкой немудрящих супов. Дни ее заполнены книгами, воспоминаниями и, если есть слушатели, такими вот рассуждениями:

– Циники вы, молодёжь! Душой загрубели. Любовь тоже разной бывает. Что в наше время была у каждого своя, что сейчас у вас. Но мы как-то больше за неё бились. Может, жизня такая была?

Она заскорузлым пальцем сбивает пепел в чеплашку (никто уже не помнит, откуда она взялась, эта старая то ли крышка, то ли какое-то блюдце от детского сервиза), прихлебывает чай и продолжает, меняя тему разговора:

– Жизнь – вообче штука до ужасти интересная. Посмотришь: сколько людей – столько и жизней, у каждого своё. Как говорится, в каждой избушке – свои погремушки.

Баба Ася встала, выплеснула остатки шары, сполоснула чашку и снова налила в неё чая.

– А что мы в детстве своем видели? В Чите тогда «буфер» был, слышала, наверное? А по тем меркам отчим был «богатым» человеком – лошадёнка у него была. Он на ней «таксистом» работал, или, как тогда говорили, выезд имел. Нас трое было: я, брат и сестра. Мать ходила по домам, стирала. Меня-то лет в шесть нянькаться отдали. Девчонка горластая была, я вечно засыпала на ходу. Правда, мало я с ней понянчилась. К китайцам ходили грядки полоть. Китайцы же огородники от Бога. Часов в шесть утра уже бегали по Чите с зеленью: «Кому петрушку, лук! Кому петрушку, лук!» Вот почему их все звали «Ходя»? Что быстро бегали-ходили! Платили копейки, а спрашивали строго. Вот такусенькую травинку не пропустишь – заметят.

У нас и богатые родственники были. Вторая ветвь – забайкальцы исконные были, хаба, однако! Что такое «Хаба»? А кто ж его знает? Всех местных так звали: и бурят, и «дерсуузалов» всех. А может, и матершинно что-нибудь!

Матушка всегда говорила, что они потомки князей Гантимуровых. Да кто ж проверял? Голубая кровь, золотой Керулен! Они с нами не знались. Там и образование было, заграницы и все, что хочешь! Двоюродные сестры и брат так через Владивосток и уехали в Париж. Жизнь их помотала по миру... Потом, уже после войны, вернулись в Москву, а их и сослали на поселение под Караганду. Брат умер, а Надя и Таня ещё в 80-е в Саранске жили в однокомнатной квартирке. По пять языков знали! Хоть и древние старушки – да в день платья меняли не раз – в одном нельзя ходить! Даже на одних себя стол старались сервировать! Шили всё себе на руках, шажочки мелкие-мелкие, и не скажешь, что иголкой, – как на машинке. Они хоть и жили на одни пенсии, но всё у них чинно, аккуратно.

Куда уж нам с сермяжной мордой! Мы-то сами десятый хрен без соли доедали. Надо матушке должное отдать: сама грамотная была, читать-писать умела, и нас учила. Тянулась, да учила. Когда я подросла, мне год добавили, чтоб на работу взяли. Почерк был у меня каллиграфический, устроили на метеостанцию. Мать мною очень гордилась. Она нравом суровая была, раз сказала – делай. Плохо сделаешь – так подкинет, что бегом побежишь переделывать!

Как мы в домике все умещались только! И всем места хватало. А там и племянники жили с нами до самой армии. Бывало, посадит меня с сестрой суп хлебать, чашку одну поставит. Мы начнем каждый к себе ее наклонять да тянуть. Как ложкой брякнет по лбу! Обеим, чтоб неповадно было! А потом посредине чашки воткнет щепочку: у каждой – своя сторона, на чужую не лезь!

Я маленькая была, толстопятенькая. Одна коса в руку толщиной ниже пояса болталась. Восемнадцатый год пошёл – посватал меня один военный, я и не знаю, в каком чине был. Солидный такой. Я напугалась, что мне было-то, пигалица! Убежала. А мать меня за косу вытащила. Не пошла я за него, шибко смешно у него нос шевелился при разговоре! Я и засмеялась. Глупая была, а он обиделся. Да он мне в отцы годился. Это мне по тем меркам так казалось.

Потом уже в двадцать лет вышла замуж за Алексея. Тоже был меня старше намного, офицер. Хозяйственный очень, все проверял: сколько мяса в супе, как я оделась, как чай завариваю. Он, конечно,

опытней меня был, я у него как сестра младшая и была. Или как дочь даже. Любил он меня, оберегал. Заботился. Да по тем временам у меня туфель несколько пар было, на выход. И пальто было, я и выглядела как «мадама в модном туалете».

Старшая дочь-то от него. Я ж её в поезде собралась рожать, меня с поезда и сняли. Алексей только и успел мне солдата на месяц оставить, сам поехал к месту назначения дальше. Война уже была. В чужом городе, без денег, без документов. Солдат месяц мне помогал, а потом тоже на войну поехал, я его и имени не помню.

А меня в лагерь отправили на Урал, где всяческий народ, войной туда заброшенный, ждал своей участи. Я там до середины зимы и торчала, пока мои документы да офицерский аттестат Алексея не пришли. Потом только в Читу попала.

Это вы сейчас по три года сидите с ребёнком. А тогда – родил и пошёл работать. Матушка сидела с ребёнком, а меня отправили в Монголию, писарем я там при штабе служила. Ой, это уже под конец войны было, а так и в эвакогоспитале пришлось бинты стирать, и на метеостанции работала, и трудповинность отбывала – дрова заготавливали с такими же девчонками. Норма была – два куба дров срубить, напилить, сложить.

В Монголии со вторым мужем и познакомилась. С Алексеем судьба развела нас, незачем тебе знать, что и как, дело прошлое. Разные мы были. А второй был красивый, черноглазый, шоферил при штабе. На мою косу глаз и положил. Подъехал к дому на своем студебеккере (или как там его драндулет звали), ткнулся в стену мотором, а машину не выключает. Мать напугалась, выскочила, а он ей: «Отдашь дочь за меня? А то дом снесу». Матушка руками замахала – забирай! Да и мне он очень понравился: имел обхождение. Это уж потом жизнь наперекосяк пошла.

К дочери относился, как к своей, меня любил. Дочь общая родилась в 1947 году. Что там, рядовой шофер, какие деньги! Он до них не жадный был, если помогал кому, то так, за «спасибо». А тут и депутатом его выбрали – фронтовик, честный, работяший. Вот тут и началось: то поездки, то встречи разные, то застолье, а там – дамы-вертихвостки. И загулял моя радость! Клялся: «Поехали ко мне, там дом, там пить не буду!» И уговорил ведь дурочку! В Чите-то жить негде было – поехала я за ним.

А здесь дом-то материн – жить тоже негде, ещё и младшие подрастают. У нас-то в Чите ещё две дочери родились: после войны

аборты запрещали, приходилось всех рожать. А старшая, общая, простыла, умерла, шел ей всего четвертый год. У матери жить пришлось, ютились за стенкой, среди мышей и тараканов.

Вы, молодые, правильно делаете, что самостоятельно жить хотите, может, и мы на квартиру куда ушли бы, по-другому бы все и пошло. А здесь я ко двору не пришлась, мать и жужжала ему в уши: «Кого взял!» Уж побегала я с детьми от него по соседям! Свёкру спасибо, человек хороший был, защищал меня. Подкармливал, когда мог. А младшая родилась в пятьдесят седьмом – вообще ужас что было! Она ж рыжая была, огненная вся, и глазищи голубые! Всё – от пожарника нагуляла! Не раз с ней под крыльцо забьюсь и вою молча, пока не уснёт.

Пил уже тогда порядочно, редкий день нервы не мотал. Раз пьяный матери бросил мимоходом: «А, пусть сдыхает! Таких, как она, вон – уйма!» А уходить не уходил, всё про любовь говорил. Бог, наверное, мои молитвы услышал – младшая в полгода почернела вся, глаза карие стали – вылитая свекровь, даже в её отца пошла.

Затихли тогда его пьянки, вернее, меньше стало их. Он её, младшую, из всех детей выделял. А она картавая была, ни хрена не понять было. Стихов много знала, а что рассказывала – и не разобрать, одни «тю-ля-ти»! А он понимал, переводил.

Перед ней почти мертвый ребёнок родился, девочка, пожила часа два. Последним единственный сын у нас был – тот вообще полчаса прожил. Видно, не до детей мне было, да шпынял он меня, толчки и нервы сказались. Младшая-то тоже родилась – кандидат на тот свет. Лежала, молчала да вздыхала. Родила я дома, стирала в тот день, а помощников, как всегда, не было. Вот и натаскалась ведер с водой. А докторша, Надежда Дмитриевна, приехала, хорошей души человек, дай Бог ей долгих лет и здоровья, взвешала её безменом в платке носовом – кило сто пятьдесят! Все удовольствие! Просить стала отдать, мол, она врач, выходит. Да я не отдала. Говорю, угодно Богу – выживет. А как своего выпорка отдашь? В честь её и назвала. А она вот выкарабкалась. Так и жили – чужие обноски донашивали. А как-то прибежала ко мне на работу старшая с плачем: «Бабка на улицу выгнала!»

Я – домой. А она и детей, и вещи – все в ограду выкинула. Дождь шел, а детишки, как цыплята, под стол забились, друг к другу жмутся. Хоть вой, хоть вешайся вместе с ними. До вечера у соседей

приютились, а там мой пришёл, пошёл против матери, да и свёкор заступился – пустили в дом.

Так пикнуть боялась, и куда денешься? Назад? Их вон мал мала меньше, некуда ехать. Да и стыдно было – мужняя жена, сиди молчи...Тем же летом дом стали строить. Сам строил полностью. Какой там домик, как бы раньше сказали – флигель. Четыре на шесть, может, и было. Но и то – ого-го! А что? Печка была, крыша – выжили! Крыша ещё плохо была закреплена (торопился к осени дом закрыть), и как-то в сильный ветер ее приподняло, развернуло и сверху грохнуло. Она на две половинки-то и развалилась. Дети одни дома сидели как раз, испугались, конечно. Младшая потом неделю по ночам блажила. Старшей вообще досталось больше всех, садики тогда же редко были, она и нянчилась с мелюзгой. То понос, то золотуха. Пришлось школу уже вечеркой заканчивать. Последним-то полегче жилось. Жизня наладилась, в магазинах вешши стали появляться. Народишко вздохнул.

Баба Ася иногда нарочно выражалась таким вот «старческим, деревенским» языком, ей нравилось выискивать редкие словечки из книг, выдумывать самой. В доме жили такие слова, как «ховых», обозначавшее нечто бесформенное, начиная от старой тряпки до пьяного мужика, а в реальности это слово пришло из книжки про ненцев или эскимосов, сейчас уж и не вспомнишь, и вроде бы обозначало шугу на реке. Была «харьхуряшка» – старая одежонка, вещи – вообще неизвестно откуда появившееся слово. Было слово «обуй» – обувь, и следом появилось уже местное словечко «одуй» – одежонка. Была фраза: «Уды опрал?» – «Руки вымыл?» А про значение фразы «А тайный уд опрал?» – догадывайтесь сами. Причем, последние фразы были вычитаны в книжке, так монах с будущим иноком разговаривал. Со временем эти слова из дома пошли кочевать по знакомым и друзьям, прижились и там. А баба Ася так же легко умела завернуть фразу и «вумную», с техническими терминами, вычитанными из все тех же бесконечных книжек и журналов.

Отличалась баба Ася оптимизмом, той житейской мудростью, которая выделяет русского человека от многих других. Себя называла «старой скво», как хозяйку вигвама, одну из дочерей, вечно чем-то озабоченную, надутую на мир, скрытную в чём-то – «дутый бобик», другой дочери, страдающей растрескавшимися пятками, прилипло прозвище «рваная пятка». При этом обид не было, смеялись все сообща. А когда выросли, то самую старшую, бывшую партийным

секретарём в своей организации и пытавшуюся к тому времени уже учить жизни бабу Асю, звала «партайгеноссе» и «партконтроль», чем доводила ее до обид. Правда, больше за глаза. Она, старшая, действительно была самая бескомпромиссная, всё должно было быть «как она сказала». Видно, забота о младших с детства выработала у неё такую непримиримость.

С младшей у неё отношения были, наверное, самыми близкими. Та была такая же мечтательница, читала также запоем, тоже сочиняла стишата, больше всех жалела. И, главное, – понимала. Может, их сблизило то время, когда старшие уже разъехались по учебным заведениям, а младшая, выбрав заочное обучение, была с ней рядом на правах подружки и сына, делала мужскую работу, когда благоверного не было дома. Младшая принимала её «неумение жить» как вполне нормальное. Ну и что, что нет сберкнижки, ну и что, что не гонялась за мебелью модной или тряпками, ну и что, что любила мать покупать что-нибудь из чтива или, пусть двести граммов, хороших конфет детям. «Пусть хоть попробуют! – говорила она в такие моменты. – Хоть вкус знать будут». Зато понимала детей, никогда не ругала их, не обвиняла в своих трудностях. А может, младшей и нравилась такая материнская тяга к жизни, её умение преодолевать все трудности и при этом радоваться каждому дню.

Сухонькие ручки бабы Аси, переделавшие в своей жизни тьму-тьмущую всяческой работы, к старости совсем высохли. Левая, ломанная в далеких шестидесятых, была заметно тоньше, вечерами частенько ныла. На спицах баба Ася вязать не умела, а вечерами, в появившееся на закате лет свободное время, обвязывала крючком платочки, делая их из старых лоскутков. Платочки выходили такие жизнерадостные: круглые, треугольные, овальные, цветные, в полосочку.

– Да-а-а, а в году 63-ем выделили мне, как многодетной, квартиру. Это были хоромы! Брусовой дом на два хозяина, три комнаты, сарай! Чудом получили: в профкоме за меня женщины слово сказали, видели, как я бьюсь. Переезжали-то как! Мой на санках всё перевёз! Что там, харьхуряшки одни! Да черепки. Мебели не было – на что покупать, сам все делал. Все-таки руки у него умелые были. Буфет, стол, комод, этажерку – всё сам смастерил. Банюшку потом построил собственную. Заместо шифоньера сундук был, около печки стоял. «Настояшший шишанер», как мой говорил, купили, когда уж младшая школу окончила. В тот же год я и на пенсию пошла. На пенсиёшке-то очень

не забалуешь, да хватало на жизнь. Я ж за полгода до срока пошла, пришлось вот. Средняя моя после института на практику уехала да через год вернулась. Что-почто и не рассказывала, насупится и молчит. Уж когда живот на нос полез, не скроешь. Сейчас-то вон и осуждать некого – через одну рожают без мужа. А тогда еще стыдно было. Да, девка умная, кому там поверила, так и не рассказала. Старшая даже ей предлагала усыновить мальчонку. Не отдала.

Внуку месяца три было – место подвернулось ей. Она на работу – я с внуком сидеть. И, знаешь, обидно ведь было, что на пенсию не проводили. Мой внука все резидентом да подпольщиком дразнил за то, что долго молчала. А так-то любил его, воркотей называл. Своих сыновей не было, а он всегда сына хотел. Да вот дурил парень по молодости. Так полжизни и проболтался. Уж за тридцать лет нынче. Уж выла я, и упрашивала, и материлась! А Бога сколько просила за него! Да видно Бог все ждал, пока он сам не попросит... А раз сам не хочет, что толку? Так полжизни своей и прогадил.

Баба Ася тряпицей вытерла набежавшую от воспоминаний слезу, приподняв старые, не единожды ломанные очки. Тяжело и больно знать, что твой внук так вот нелепо губит свою жизнь, и помочь ему, ой как, невозможно... Но, видно, нахлынувшие воспоминания переполнили её душу, ими надо поделиться, чтоб не затопили. Баба Ася, тяжело вздохнув и помолчав, продолжала:

– Мой-то уже при Горбачёве помер. Всего год на пенсии и прожил. Пил последний год по-дикому, перебрался на летнюю кухню, там и жил. Хохотальником звал свое лежбище. Звала я его, звала, да видно шлея под хвост попала. А летом простыл, в больнице месяц полежал, а потом уж дома доходил. Туда-то попал мужиком, а выписали стариком. Печень не выдержала. Всё равно жаль, свой был, хоть и хреновенький, да свой. А сейчас мне вот одной как? А так, глядишь, всё бы по дому шараборился, где посмеялись бы, где и поматерились.

Оставшись одна, баба Ася, как ни странно, очень скучала по своему супругу. К одиночеству прибавилась дикая бессонница, во время которой она вела разговоры с умершим... Одной из дочерей, жившей через два дома, пришлось переезжать к ней. Здесь и места было больше, да и теплее, да и легче управляться в одном доме, чем жить на два. Баба Ася успокоилась, жизнь продолжалась.

– Вот, смотри. Четыре дочери, а все разные. Все выучились, у всех по двое детей. Старшая и младшая, как вышли замуж, так и жили спокойно всю жизнь. И в основном сами управлялись с семейством

своим. А средние – по два-три раза успели выйти. Всё что-то не получалось, хоть и помощи им больше досталось. Вроде одинаково воспитывала, никого не выделяла. А век доживать-куковать вот с предпоследней пришлось. Не-а, она добрая, куском никогда не попрекала, да и девки её меня не обижали. А что зять, так он у неё недоделанный. Как баба, гундявый, руки от задницы растут. Все с тычка только и делает. Она сама по дому с хозяйством полощется. Мент, одним словом.

Баба Ася немного лукавит. Зять, хоть и, правда, неумелый – ни топор насадить, ни ограду почистить без напоминания не мог – всё-таки не совсем уж пропащий был. Всю жизнь работал в охране, дочь не обижал, пил умеренно, тещу боялся. Чуть что, и правда, гундел обиженно – у него всегда находились причины: кто-то всегда был виноват в его проблемах. То у него радикулит, то изжога. Но все это не мешало им иногда с тещей и по сто граммов мирком распить, выкурить по сигаретке, или, как говорила баба Ася, трубку мира. Правда и то, что доставалось ему от тещиного острого язычка предостаточно... Другой, быть может, давно тёще показал бы, кто в доме хозяин. Да, видно, хозяином он себя не считал...

Эти годы были самые спокойные. Дом есть, никто не обижает, присмотр имеется. Пенсия, растущая вместе со старостью, была уже «вообче жить можно!» Подкосили бабу Асю два инсульта, случившиеся один за другим в течение двух лет. Её оптимизма хватило, чтобы оклематься от болезни; через две недели она уже ползала по дому, как она называла своё передвижение. Чувство юмора помогало ей пережить свою немощность. Когда старшая дочь спрашивала её: «Мама, ну что Вам принести или приготовить?» Она, мечтательно закатив глазки, могла на полном серьёзе перечислять: «Так, мне рябчиков в белом соусе с ананасом, жульен из белых грибов...» А дочь сердилась: в такой ситуации шутки ей казались неуместными. Хотя при нынешнем изобилии, были бы деньги – хоть рябчиков, хоть ананасов проси!

Беда грянула, когда баба Ася, не хотевшая беспокоить дочь и звать ее с огорода, сама пошлепала в кухню за чаем. Переоценила она свои силы – старая нога подвернулась и хрупкая кость в бедре не выдержала ушиба. С этого дня баба Ася не вставала. И если вначале она хоть иногда присаживалась на кровати, позволяя перестелить бельё, поменять положение тела, то со временем это делать становилось все труднее и труднее. Невозможно было уговорить бабу

Асю лечь в больницу. Ехать ни на рентген, ни на анализы она не захотела. Лежа на кровати у печки, она со временем устроила свою больную ногу как ей было удобно, стараясь ею не двигать. Перелом зарос хрящом, и нога, потерявшая способность двигаться, оттопырилась в сторону.

Так она и лежала почти год. Речь полностью к ней не вернулась, но она всё равно любила поговорить. Интересно, что простые слова иногда она даже не могла произнести, а матерные выскакивали легко. Это упрощало общение! Пласталась, в основном, дочь, жившая с ней, да внучки, её дочери. Остальные приезжали, помогали, кто чем, кто как: скидывались на лекарство и памперсы, привозили что-нибудь вкусненькое.

Видно, в заботах о матери, дочь где-то и упустила себя. Вечером переволновалась, отправляя свою младшую на учебу в Иркутск, а утром, встав с кровати, упала в коме от гипертонического криза... Не дожила она чуть-чуть до пятидесяти... Три дня, пока она находилась в больнице, пока был шанс на жизнь, пока не остановилось ее сердце, бабе Асе ничего не говорили.

Но смерть дочери не утаишь от матери. Молча, стиснув впалый беззубый рот, плакала баба Ася. Уже потом, когда её, такую маленькую, высохшую, с больной скрюченной ногой, принесли на руках к гробу, она, нет, не кричала, шептала: «Это же я должна была умереть...»

Со времени похорон дочери и угас огонёк в глазах бабы Аси. Казалось, она лежит и просто ждёт смерти, ждёт своего часа...

Последний день войны

Зарисовки из прошлой жизни

Баба Шура и её семья

Сундук был большой, потемневший от времени, с плоской крышкой. Его углы были оббиты металлическими накладками, по

бокам слепо проступали остатки рисунка. Александре Александровне он достался от матери: больше не во что было сложить её немудрящее приданое. Сейчас, кроме стираного-перестиранного бельишка, стареньких простыней да каких-то обиходных тряпок, хранилось там одно выходное платье, лет которому было уже немерено. Единственное Шуркино богатство. А на самом дне сундука лежал рушничок, вышитый руками бабушки. Это память о дедушке-казаке. Не менее ценной была и жестяная коробка из-под китайского чая, в которой лежали метрики, письма, важные бумаги да узелок с лампасейками. Лампасеек оставалось восемь штук, как раз на два раза младшим ребятишкам: Вовке, Гошке, Ольге и Лизке. Старшему Алёшке конфеты не полагались. Большой уже.

Перебрав всё в сундуке, Александра Александровна вздохнула, закрыла тяжелую крышку и присела на табуретку. Это была высокая женщина лет пятидесяти, не сломленная годами и тяжёлой работой. Волосы, густые и крепкие, уже поседевшие на висках, были закручены в тугой узел, скуластое лицо её выглядело суровым. Перед ней стоял каждодневный больной вопрос: чем накормить свою большую семью. Есть хотели все и всегда. И вопрос, что сварить и из чего, мучил её постоянно. Доходов было меньше, чем ртов. На больного мужа выдавалась карточка иждивенца, сын Алёшка работал учеником токаря на паровозоремонтном заводе, имел карточку рабочего. Хорошо, что, кроме карточек, ему там выдавалась ещё и похлёбка с куском хлеба, а то бы мальчишка не смог взгромоздиться на ящик перед станком. Сама Шура стирала халаты и постельное бельё, привозимые ей домой из военного эвакогоспиталя на телеге, запряжённой старой лошадью. Да младшая дочь, служившая писарем в штабе воинской части, отоваривала аттестат. А уж какие деньги на этот аттестат полагались? Копейки! Вот и весь доход. Хорошо ещё, что рядом с домом был маленький огородик, где весной Шура старалась воткнуть в любое свободное место какой-нибудь овощ.

Она любила свой маленький домик на Хабаровской. В нём всегда было чисто, хотя и бедно. Да и огородницей она была от Бога. Все грядочки у неё были ровненькие, чистенькие от сорняков, росло здесь всё самое необходимое: морковь, свёкла, лук, чеснок да картошка. Воду носили на полив из болотинки, почти вплотную подобравшейся к заборчику. Цветам места не было – роскошь! В курятнике жили три курицы, охраняемые всеми домочадцами. Сторожила их старая рыжая дворняга со странной кличкой Иван Иваныч.

По карточкам выдавался очень скудный набор продуктов. Вроде, и от голода ещё не умирали, но уже забыли, когда ели досыта. Конечно, хорошим подспорьем были свежие яйца. Каждое яйцо бережно приносилось на кухню и складывалось в чашку. В базарный день Шура брала три яйца, заворачивала их в салфетку и шла на толкучку. Салфетка всегда была чистая, выглаженная, сама Александра причесанная, аккуратная. Внешний вид на базаре имел большое значение. Шурочку знали в городе и доверяли ей. Три яйца менялись на рюмку подсолнечного масла или на полстакана пшена. Очень редко, по праздникам, только ребятишкам делалась болтанка из пары яиц.

Сейчас уже, к весне сорок пятого, когда победа над фашистами была делом решённым, жить стало немного полегче: больше стали выдавать продуктов по карточкам. В первые годы войны было очень голодно. Хорошо, что в городе ещё была работа, значит, были карточки, была надежда выжить, дотянуть до Победы, в которую верили свято. А вот под Читой, в деревнях (доходили слухи), голод свирепствовал нешуточный. Особенно в конце сорок второго. Бабы на базаре с испуганными глазами, оглядываясь по сторонам, говорили, что тут, недалече, в деревне два брата-подростка от голода зарезали и съели своего сверстника. А в Шилкинском районе мужик в отчаянии зарубил всех своих: мать, жену, шестерых детей. И застрелился сам[2]. А слухи это были или правда – поди проверь...

Тяжело ещё было по той причине, что муж Александры был болен – туберкулез сжигал его лёгкие. И хоть он добросовестно пил назначенные врачами таблетки, дела его были плохи, потому что о полноценном питании не могло быть и речи. Сам Иван Михеевич понимал, что ему уже не выздороветь, но детей надо было спасать. Вставал он с трудом, очень редко и только с чьей-нибудь помощью. Малышню к нему не пускали, хотя они и заглядывали с любопытством за занавеску. Дед, лежащий в полумраке запечья, был такой таинственный...

С этой ребятнёй были, конечно, большие проблемы. Одна дочь Александры Александровны, Мария, вышла замуж ещё до войны, уехала со своим адвокатом в Ленинград и там попала в окружение вместе с малолетним сыном Вовкой. Им посчастливилось вырваться из осаждённого города раньше, чем там начался ужас блокады, –

[2] Факты действительные, отражённые в протоколах НКВД. Конец 1942 г.

помогли беременность и маленький сын. Уже здесь, на Большой земле, они долго добирались до родного города, подальше от войны, ближе к матери. В Чите Мария родила дочь. Подрастив её чуть-чуть, она уехала искать своё счастье, оставив обоих детей матери и появлялась лишь иногда. Десятилетний Вовка рос драчливым сорванцом, но у него уже было свое дело – голуби. И все старые голубятники округи знали мальчишку, торговавшего сизарями. В маленькой голубятне на чердаке дома всегда были голуби на продажу. Выбракованные птицы шли в суп. Так что Вовка тоже был кормильцем.

Ещё раньше, в начале ноября сорок первого, и младшая дочь Нина, которая перед самой войной вышла замуж за кадрового офицера, родила дочь Ольгу. Когда началась война, Алексей решил увезти Нину к своим родителям, да не успел: начались роды, и Нину сняли с поезда. Сначала отправили в роддом, а затем, как гражданку без документов, выслали в лагерь на Урал до выяснения личности. Муж в этой суматохе не успел даже отдать ей паспорт. И только летом сорок второго Нина попала наконец домой, чуть-чуть опередив похоронку на мужа.

Ольга с Лизкой, дочки Марии и Нины, отощавшие за первые годы своей жизни, вытянулись былинками, но уверенно росли под крепкой Шуриной рукой. Ольга, как старшая, командовала своей сестрёнкой, а та, хитрая и сообразительная, старалась от этой опеки увернуться. За ними нужен был глаз да глаз.

Был ещё в семье Гошка, сын двоюродной сестры. Родившийся перед самой войной, он рос крепким мальчишкой, шустрым и рассудительным. Причина, по которой Шура растила и Гошку, была житейская: сестра Анна, медик по образованию, помогла соседке избавиться от беременности, да неудачно. Женщина умерла. Вот и скрывалась Анна где-то на просторах Казахстана. Гошка сначала жил у Александры Александровны, но в самое лихолетье его пришлось сдать в детский дом. Выкормили бы и его, да Шура побоялась, что через Гошку быстрее найдут сестру. А так всё было безопаснее. Шурочка по выходным, если удавалось выкроить время, ходила его навещать.

Единственный сын Лёшка был уже самостоятельный мужичок. Он работал. Пусть пока ещё просто учеником токаря, но очень гордился этим. Лёшка точил болванки к снарядам на стареньком станке, взгромоздившись на большую подставку, был вечно голоден, от этого сильно мёрз, но не унывал. Пройдёт время, и учащийся

железнодорожного училища Алексей Малюгин будет жить в мирное время, учиться в институте, станет совсем взрослым! Жаль, что сейчас он мал и годами, и ростом. Ему очень хотелось быть более полезным семье.

Вот такое семейство тянула на своих плечах Александра Александровна Малюгина в течение всего военного времени.

Шура

Во дворе раздался лай собаки, бряцание щеколды. Александра Александровна поднялась с табуретки, захлопнула сундук и вышла из дома. У калитки она увидела Евсеича, привозившего ей из госпиталя бельё для стирки. Собака для острастки лаяла, натянув цепь, но в пределах разумного: Евсеича она знала и беды от него не ждала. Увидев хозяйку, возчик заулыбался:

– Ляксандра, принимай работу! Свежую!

– Добрый день, Евсеич! Бегу, бегу!

Она подхватила тяжёлый узел с бельём, другой, третий. Ещё два помог занести Евсеич.

– Ляксандра, ты радиву-то слушала? Наши-то уж фрицев около самого главного бункера бьют! Скоро, скоро задавим гадов!

– И не говори! Скорее уж! – Александра рукой провела по вспотевшему лбу, по волосам. – Может, и Иван найдётся где? Уже полгода как без вести пропал...

Иван, младший брат, воевал рядовым пехоты с самого начала войны. Бог берёг его все первые годы, самые тяжёлые, а тут перестали приходить от него письма, и неизвестно, жив ли, мёртв ли...

Шура попрощалась с Евсеичем, перетаскала узлы под навес, где у неё было место для стирки приспособлено: два корыта с холодной водой для замачивания, печурка с баками для кипячения белья. На крыльцо, мелькая голыми пятками, выбежали Ольга с Лизкой.

Шура загнала внучек домой, сама зашла следом и принялась по привычке ругать их:

– Ишь, егозята какие! Сначала умыться надо, заплестись, потом и на улицу пойдёте.

Внучек она заплетала туго, волосок к волоску. Косички получались тонюсенькие, но воинственно торчали в разные стороны. Заплетала их Шура по всем правилам: ровный пробор, две тугие косицы, похожие на

мышиные хвостики, и тряпочки на кончиках. О лентах тогда и не мечтали. Внучки молча терпели, пока бабушка приводила в порядок их головы. Знали: пискнешь – попадёт костяшками пальцев по макушке. Но при этом Лизка успевала корчить рожицы Ольге, пользуясь тем, что стоит спиной к бабушке и та не видит её проделок. Впрочем, баба Шура догадывалась...

Недовольна была Александра Александровна своей старшей дочерью. Нина, младшая, участвовала в семейных делах: и что по аттестату положено в семью отдавала, и по дому всё делала. В штабе знали, что у малюсенькой Нины есть дочь, по возможности помогали, домой при случае отпускали. Маленькая, с тяжёлой косой ниже пояса, она походила на девчонку. На работе её уважали за грамотность и покладистый характер.

А вот Мария, подкинув детей матери, уехала неизвестно куда, изредка появляясь на день-другой. Мать выговаривала ей свои обиды, она плакала, обещала забрать детей и снова куда-то пропадала: то ли за старым мужем вдогонку, то ли нового искала. После каждого её приезда оставалась пара приличных платьев, которые Шура, стыдясь смотреть в глаза покупателям, продавала на базаре – детей надо было кормить, они ни в чём не виноваты.

Накормив девчонок (Вовка уже давно убежал по своим голубиным делам), Александра Александровна зашла за занавеску к мужу. Иван Михеевич лежал, приподнявшись на подушках. Он совсем ослаб, испарина выступила на его высоком лбу, густые отросшие волосы, потемневшие от пота, стояли ёршиком. Шура вытерла лицо мужа, погладила его высохшую руку. Оба понимали, что болезнь слишком запущена...

Иван Михеевич был вторым мужем Шурочки, первый погиб очень давно, пожили-то с ним совсем ничего. Малюгин был тихим, приветливым, заботился о жене и детях, больше помалкивал да отшучивался. Видно, сказывались забайкальские корни. До войны имел тощую лошадёнку, возил груз. Соседские бабы завидовали спокойной жизни Шурочки: у многих мужей считалось нормой, напившись, намотать косу на руку да поучить жену. Так, на всякий случай. Война всех смирила, объединила одной общей бедой.

– Детишки на улицу побежали? – Михеевич слабо улыбнулся жене. – Весна, тепло там!

– Тепло, день хороший! Может, до завалинки помочь добраться?

Шура любила этого мужчину, больного, сейчас такого немощного, но шедшего с ней по жизни рядом, оберегавшего её от бед. Она не боялась заболеть рядом с ним, некогда было и думать об этом, надо было целый день варить, стирать, кормить, просто выживать, тянуть воз из последних бабьих сил. С малолетства она работала то в няньках, то домработницей, в людях, как говорили в то время. В школе она не училась, лишь Анна Даниловна, жена врача, у которой Шура нянчилась с ребёнком, ценя её за честность и исполнительность, научила маленькую девчонку читать да расписываться. Но детей своих Шура старалась выучить, понимая, что за грамотностью стоит лучшая жизнь.

– А помоги, пожалуй! Кто знает, когда ещё смогу, вроде сегодня получше себя чую.

Вдвоём добрались до завалинки. Шура укутала мужа, пододвинула табуретку для дополнительной опоры и побежала стирать.

Сначала перебрала госпитальное бельё: просто грязное кидала сразу в корыто, а бинты, окровавленные, гнойные, скрученные, предварительно замачивала. За каждым марлевым мотком была чья-то боль, трагедия, смерть... Или надежда на жизнь. Разожгла печурку, поставив кипятиться халаты, плеснула щёлока в бак. Госпиталь на стирку выделял куски темно-коричневого хозяйственного мыла, но Шура экономила его, отстирывая более чистое бельё щёлоком.

Ольга с Лизаветой играли здесь же, в ограде, но всё норовили вылезти через подворотню на улицу. Куклами им служили маленькие чурочки, на которых химическим карандашом были нарисованы глаза и рот. Девочки заворачивали их в какие-то тряпочки, укладывали спать, что-то напевали им. Была у сестричек ещё деревянная лошадка – дед вырезал её для маленького Вовки. Но то, что это лошадка, знали лишь сами Малюгины: у лошадки уже не было ничего, что могло бы её обозначить. Девчонки играли в углу ограды тихо, только писком изредка выражали своё недовольство. Понимали, взрослым не до них. Баба Шура между делом косила глазом на них: знала, чуть что – и сбегут. Такие случаи бывали. Тогда Шура садила внучек около завалинки, очерчивала прутом линию, которую пересекать было строго запрещено. Прут ставился здесь же для напоминания. «Лучше не нарушать запрет», – решили девочки после первого же наказания.

Собака подняла голову, молча вскочила, завиляла хвостом. Во двор, чуть прихрамывая, вошёл Вовка, придерживая рукой

разорванную рубашонку. За пазухой у него бился, вырываясь на свободу, голубь.

– Ого, опять подрался, чадо моё! – встретила его Александра Александровна. – Что, небось, и юшку пустили?

– Ну да, я сам кому хошь пущу, – Вовка шмыгнул носом, подозрительно опухшим, и полез на голубятню устраивать пленника к остальным сизарям. Баба Шура молча проводила внука глазами, вздохнула и начала намыливать отмокшие бинты. Она понимала, что до добра торговля голубями не доведёт, но сказать было нечего, дети росли, их надо было кормить, одевать. А Вовка нет-нет да и продаст голубя, побрякает медяками. Все подспорье: где сам сыт, где остальным помощь. Раненые солдаты с охотой покупали птиц, скорее всего, соскучившись по мирной забаве, а может, просто хотели помочь сорванцу, видя в нём то ли себя в детстве, то ли своих детей.

Иван Михеевич, устав, запросился домой. Лёг за занавеской и затих в беспомощности.

Сын Алёшка

Цех жил, монотонно шумел работой оборудования: ременные передачи лентами сбегали с общего вала, крутились шкивы на станках, резцы врезались в металл, синеватая стружка спиралью свивалась в бесконечные пружинки, в мотки без начала и конца. Надо было крючком вовремя успеть отцепить стружку, замотанную причудливой металлической нитью. Чуть прошляпишь – и не освободишь запутанную болванку. У Алёшки все руки были в тонких шрамах от острой, колючей стружки. Он гордился своими травмами перед младшими мальчишками, и они уважали его за почти боевые раны. Алёшка считался уже опытным учеником, ему доверяли сложные детали. Дядька Иванович, наставник, не раз грел Лёшкину душу словами, что, мол, и разряд ему можно дать повыше. Вот только устройство станка надо подучить. А ещё дядька Иванович говорил, что есть люди, у которых руки сами к металлу тянутся. Они душой его чувствуют, на слух при заточке сверла могут определить правильность угла грани. Лёшка пытался на наждаке затачивать сверло, прикрыв глаза, но, зацепив ноготь, побоялся экспериментировать дальше – не дорос ещё видно. Сам дядька Иванович демонстрировал ребятам такой фокус: бросал два прутка и по звону металла определял

легированность проката. Кто-то, может, и не верил в чистоту опыта, но Иванович ошибался действительно редко. Таких пацанов, как Алёшка, у дядьки Ивановича было с десяток, но он никого особо не выделял, всех терпеливо учил. И жалел их той стариковской жалостью, когда всё понимаешь, а помочь ничем не можешь. Сердце сжималось у мастера, когда он видел измождённые лица ребят, но изменить что-либо было не в его силах. А ребята и не хотели жалости, они ощущали себя взрослыми, нужными заводу. Часто, отстояв смену, они не уходили домой, а оставались здесь же, в цеху, стояли дальше на своих ящиках и точили, точили детали до голодного обморока, до полного изнеможения. Всё для фронта, всё для Победы. Это были не лозунги, это была правда. И каждый пацан понимал: нет ничего ответственнее его работы, его задания. Счастливчиком считался тот, кто в сорок втором году видел проводы на фронт бронепоезда «Забайкалец», изготовленного на родном заводе. Рассказы об этом событии передавались из уст в уста при малейшей возможности и свободной минутке. И пусть линия фронта была далеко, на западе, зато Квантунская армия была рядом, стояла у самой границы. И возможность войны с Японией была реальной. Мальчишки, несмотря на малолетство, понимали всё. Война дышала в их ребячьи затылки, приходила домой солдатскими треугольниками и похоронками.

Алёшка работал уже больше года. Александре Александровне пришлось просить дядьку Ивановича взять сына на завод. Тот жил по соседству, знал все подробности их жизни. Мальца полюбил как своего, как, впрочем, и всех остальных мальчишек, доставшихся ему на обучение. Свои внуки у него были в Благовещенске, два сына воевали: один служил на Сахалине, а другой, средний, Пётр, погиб в первый год войны. Самого Ивановича из-за возраста военкомат не тревожил, а рабочие руки и опыт нужны были и в тылу.

Дядькой Ивановичем его прозвали в шутку. Как-то он вёл по цеху стайку новичков, а заточник Васильевич, балагур и затейник, любящий расшевелить товарищей метким словцом, брякнул: «Тридцать три богатыря, с ними дядька Черномор». Пацаны на богатырей, конечно, не тянули, ну а к Ивановичу прозвище прилипло. Да и было что-то родственное в его отношении к мальчишкам.

Когда уже стало ясно, что война скоро закончится, вызвали всех малолетних рабочих в кабинет начальника цеха, и тот им выдал:

– Вы свою лепту внесли в общее дело, пора вам браться за ум. Теперь вы будете четыре дня работать, три – учиться дальше. Стране нужны высококвалифицированные рабочие и инженеры.

Мальчишки зашумели возмущенно, но их успокоили: фрицев бьют уже за границей, войне осталось чуть-чуть властвовать. Кому же, как не им, сегодняшним мальчишкам, поднимать страну из разрухи.

Лёшка с удовольствием стал учиться, хотя иногда на уроках позорно мог задремать – сказывалась усталость. Он видел себя уже взрослым, инженером: вот он идёт по цеху, где начинал учиться токарному делу, подходит к станку, показывает, объясняет какому-нибудь парнишке, как надо закрепить деталь. Себя он видел таким же умным и добрым, как дядька Иванович, и его, Алёшку, так же уважают и ценят. А дома мама встречает кормильца, наливает борща наваристого в огромную тарелку, кусок мяса виднеется среди капусты, и он, не торопясь, чинно ест, ест, ест...

Лёшка помотал головой, отгоняя видения. «Чуть не запорол деталь», – испугался он, проверяя размер. Хорошо, вовремя очнулся. Мысли о будущем были сладостные, притягательные. Мечтать о мирной жизни было приятно и заманчиво. «Скорее бы война закончилась!» – опять поползли мысли, абсолютно не связанные с работой. Но Лёшка одернул себя: «Стоп, сам себе говорю! Тебе ответственное дело поручили, а ты тут нюни распустил! Будь внимательным!»

Он остановил станок, собрал изготовленные детали в ящик и понёс их мастеру. Присел около стенки каптерки, какое-то время смотрел, как тот проверяет размеры, и, поддавшись монотонному шуму цеха, отключился мгновенно, провалившись в глубокий сон. Тяжело вздохнул контролер, глядя на мальца, остановил жестом подошедшую женщину, работавшую токарем на револьверном станке: «Не разбуди!»

– Вот на плечах таких мальчишек, баб да стариков войну и вынесли! Господи, сколько им досталось!

– Сколько ещё достанется! Пока всё восстановим! Полстраны в руинах лежит!

Они ещё шепотом поговорили, оберегая минутный Лёшкин сон и поглядывая в проход между стеллажами, чтобы никто не увидел мальчишку в таком положении. Затем, отвернувшись от него, чтоб не смущать, звякнул старый мастер заготовкой погромче, заговорил в полный голос. Алёшка встрепенулся, раскрыл глаза, подскочил,

озираясь. Уснул? Или показалось? Спросить? Но, видя серьёзные лица старших товарищей, успокоился.

– Всё в норме, молодец! Уложился в допуск! – мастер устало улыбнулся Лёшке, потрепав его по волосам. – Иди за новым нарядом, только в столовку сбегай, там суп с кашей дают.

Алёшка пошёл к своему станку. Вслед ему грустно смотрели мастер и женщина.

Внук Вовка

Забравшись на голубятню, наростом приросшую к чердаку, Вовка аккуратно вытащил из-за пазухи голубя.

– Дурашка мой! Не бойся! Сейчас я тебя посажу вот сюда, накормлю, водицы дам! – приговаривал он, любовно расправляя ему перышки.

Голубь был красавцем. Сам весь коричневый, вокруг шейки – белый ободок, на спинке – белые крапинки. Он косился на Вовку глазом в красном ободке и не знал, что следует ожидать от этого разбойника с прищуренными глазами.

Честно говоря, Вовка украл этого голубя. Он давно его заприметил далеко от дома, улиц через шесть, за парком. Там, на полянке, местный голубятник позволял отдохнуть своей птичьей стае после полёта в поднебесье. Вовка мог часами высматривать этого красавца среди остальных птиц. Да только хозяин, мужик вредный и хромой, грозил ему кулаком и прогонял, чем ещё больше раззадоривал Вовку. План приобретения голубя Вовка вынашивал долго, ни с кем его не оговаривая. Боялся – сдадут его мужику, тот уж отыграется на Вовкиной спине. Вначале Вовка выяснил, куда ходит мужик, кто дома бывает. И вот сегодня, выбрав момент, осуществил он свой коварный план. Задумка была простой. Зная, что хозяин с утра ушёл на вокзал, он поймал кошку и привязал её ближе к забору со стороны голубятни. Собака стала рвать цепь и захлёбываться лаем. Жена голубятника вышла, посмотрела на собаку, ругнулась на неё и снова зашла в дом. Она не заметила, что к забору была привязана кошка. Из-за кошки собака и не услышала, как Вовка забрался на крышу и, скрываясь за тополем, открыл дверцу голубятни. Хоть и подняли птицы переполох, Вовка высмотрел коричневого любимца, схватил его и кубарем скатился в огород. Собака метнулась в его сторону, но сорванец уже

мчался по песчанику, перепрыгивая через какие-то загородки. Выскочив снова, хозяйка лишь увидела Вовкину рубашонку в конце улицы. И всё бы прошло удачно, да оступился Вовка в овражке, подходя к дому, покатился вниз, ударившись о корни дерева носом. Нога заныла сразу резко и больно. «Хорошо, хоть голубя не придавил, падая», – радовался Вовка, наливая воду в баночку. Любил он голубей. Его скуластое лицо с маленькими глазками, шкодливо бегающими по сторонам, озарялось какой-то внутренней нежностью при виде птиц. Губы растягивались в улыбочку, выговаривая такие ласковые слова, что всякий бы, услышав, удивился, что десятилетний шпанец может их знать. Правда, в случае необходимости, Вовкины руки могли и свернуть голову подбитой или забракованной птице.

О жестокости жизни Вовка знал не понаслышке. Его десятилетняя жизнь была разделена на два периода. Ленинград, который он помнил как сплошной праздник: что-то сытое, вкусное, весёлое. Красивый город, красивая мама, красивые игрушки. И Чита. Мама бывает дома редко, строгая бабушка, постоянное желание что-то съесть. Даже блокаду он не успел осознать: выехали вовремя, до массового голода, до массовой гибели ленинградцев. Смутно помнил вой сирен, грохот бомбежек, холод бомбоубежищ. Картина самой блокады сложилась у него по рассказам взрослых, а время стёрло из памяти все страшные картины. И живёт он здесь, в этом небольшом пыльном городишке, по Вовкиным меркам, уже давно-давно.

Только среди голубей Вовка становился самим собой: шумливым, беспокойным и мечтательным. Он и споёт им что-нибудь, и расскажет. Они ему в ответ поворкуют, красными лапками по плечам походят, а кто-нибудь и на голову заберётся, царапая стриженое темечко.

– Володька! Ты где там? – крикнула бабушка из-под навеса. – Слазь давай-ка поскорее!

– Иду! – откликнулся тот, спрыгнул с последней перекладины лестницы и предстал перед требовательным взглядом бабушки.

– Ой, паря, ты никак опять рубашонку порвал? Я же тебе её вечером чинила. На ногу, вона, хромашь? Как это голову ишшо свою не свернул? – приговаривала баба Шура, осматривая внука, проверяя, в целости ли его косточки, нет ли ссадин, синяков, не порвал ли штанишки.

– Иди в дом, супчику похлебай да сходи за огород, травы нарви курицам. Да за девками присмотри, мне до госпиталя добежать надо.

– Ладно, – швыркнул носом Вовка, винтом вывернулся из рук бабы Шуры и исчез в сенцах. Секунду спустя оттуда раздался писк сестрёнок то ли от радости, то ли Вовка им успел подзатыльничек отвесить, понять было трудно. Хоть Вовка их зря и не обижал, но сидеть с ними сильно не любил. Не мальчишечье это дело – нянчиться с мелюзгой, но с бабушкой не поспоришь, она и сама могла отвесить подзатыльник. Надо, значит надо. Он большой, он понимал.

Дочь Нина

В штабе уже открыто говорили про окончание войны. Офицеры не скрывали радости. Четыре года жизни рядом со смертью! Четыре года кровавой мясорубки, пота, крови, голода, разрухи! Четыре года! В Забайкальском военном округе также знали, что рядом, через границу, расположены японские войска, ждущие удобного момента, чтобы напасть на Советский Союз. И только победоносный перелом в Великой Отечественной войне: Сталинград, Курская дуга – снял угрозу нападения, угрозу войны на два фронта. Но опасность была ещё очень сильной. Военные люди понимали также, что не сразу и не все попадут домой после Победы, ещё несколько лет будут служить фронтовики, оставшиеся целыми, выжившие в огне боёв.

А сейчас был май, конец войны. Здесь, в Чите, жизнь текла почти как в мирное время.

Нина числилась писарем при штабе. Её ручка, деревянная, с металлическим перышком, легко бегала по пожелтевшей бумаге, каллиграфическими буковками заполняя формуляры. Огромная пишущая машинка «Башкирия» стояла рядом на столе, на ней Нина печатала, бойко ударяя по клавишам, в основном важные бумаги. Клавиши были высокие, в виде маленьких цилиндриков, на которых буковки были прикрыты стеклышками. К вечеру подушечки пальцев ныли от ударов, даже коротко подстриженные ногти не спасали от боли. Грохот работающей машинки разносился по всему коридору, заглушая чёткий стук офицерских сапог.

Нина до войны, окончив курсы метеорологов во Владивостоке, работала на метеостанции, где и познакомилась с Алексеем, первым мужем. Да не удалось пожить молодой паре нормальной семейной жизнью...

Самым страшным для Нины был период, когда её без документов выслали на Урал. Здесь, в маленьком посёлке при руднике, жили такие же горемыки, как и она. Её, маленькую ростом, с ребёнком, жалели бабы, помогали, чем могли. Жили все по-разному: кого селили в заброшенных домах, кто на подселение к жителям посёлка устраивался, кому выделяли койко-место в общежитиях-бараках. Охраны как таковой не было, охранялся только сам посёлок: всё-таки они не были заключенными. Таких лагерей в тайге было много.

Территорию посёлка пересекала заброшенная узкоколейка, по которой надо было утром и вечером добираться до конторы на перекличку. Причём ребёнка надо было тоже предъявить: мол, вот, жив-здоров гражданин страны, дайте и ему карточку на получение пол-литра молока. Расстояние было небольшое – полтора-два километра, но маленькой Нине они давались очень тяжело. Дело в том, что местами под узкоколейкой были промоины, и железнодорожная плеть висела над оврагом, опасно прогибаясь над пустотой. Нина привязывала Олечку шалью к спине и на четвереньках проползала по шпалам, боясь свалиться вниз. И так дважды в день. А зима на Урале суровая, с хиусом, с морозами. Как они пережили ту зиму, Нина не любила вспоминать. Как огромное счастье она восприняла тогда получение документов, подтверждающих, что это действительно она, Нина Смирнова, жена кадрового офицера, воюющего в такой-то части на западе. И что она сейчас же может покинуть Урал и ехать к месту жительства в Читу.

Нина закончила писать, вытерла кончик пера и отодвинула непроливашку с чернилами дальше от бумаг. Приближался перерыв, и она во время обеда старалась успеть добежать до дома, отнести матери паёк. Закрыв машинописное бюро, она спустилась вниз по скрипучей лестнице штаба, сдала ключи дежурному и выскочила на улицу. День был уже в разгаре, всё зеленело вокруг, сама природа радовалась жизни. А встречные люди улыбались не только весне, но и многообещающим вестям с фронта.

– Ниночка! – мужской голос окликнул её. – Вас довести?

Нина оглянулась. Черноглазый, смуглый парень стоял около машины с открытым верхом, улыбался во весь рот:

– Вмиг довезу!

Нина засмущалась, но согласилась. Этот солдат месяц назад появился при штабе с новым офицером. Нина не знала ни командира, ни солдата. Но боевые награды на аккуратной гимнастёрке шофера

говорили, что их обладатель уже повоевал. Медаль «За отвагу» просто так не дают.

– А командир на гауптвахту не посадит? – засмеялась она, подходя поближе.

– А я у него попросил машину, сказал свататься поеду!

– К кому? – удивилась Нина.

– К твоим родителям! Не прогонишь?

– Прогоню, так как совсем тебя не знаю! – Нина посерьезнела. За время службы балагуров и любителей поухаживать за ней было достаточно, отшивать назойливых она умела.

– Давай знакомиться: рядовой Смирнов Яков, сибиряк, прошёл службу от августа сорок первого до сегодняшнего дня, был ранен. Сейчас здесь служу. Холост. Вот хочу на тебе жениться. Очень мне твоя коса в душу запала.

Нина вздрогнула. Фамилия её мужа прозвучала неожиданно. Она посмотрела прямо в глаза Якова:

–У моего мужа, погибшего на фронте, тоже была фамилия Смирнов...

Солдат согнал улыбку с лица:

– Извини, Нина, я знал, что у тебя муж погиб, а вот про фамилию не спросил... Не бойся, я не обижу. Давай довезу, я знаю, что ты к дочке торопишься.

Солдат казался старше и опытнее Нины, и она почувствовала к нему симпатию. Старенький «виллис» быстро мчал по Хабаровской, поднимая песок с обочины улицы. Вот и домик родительский. Ловко выпрыгнув из машины, Яша помог выйти Нине, проводил её до калитки:

– А про косу я правду сказал...

Шура

Внучки уснули, разметавшись на кровати. Набегались, наигрались, и, насытившись кашей, устроились валетом на стареньком лоскутном одеяльце. Солнечные зайчики попрыгали по ободранным ножонкам, по загоревшим ручонкам и убежали по стене в окошко.

«Угомонились мои белочки-попрыгушки! – подумала Александра Александровна, поправляя косички. – Господи, пусть хоть они поживут в сытости и тепле, пусть хоть им достанется мирная жизнь! Выучатся,

грамотными станут, в люди выйдут. Скорее бы эта проклятая война кончилась!»

Ещё раз окинув комнатку взглядом, Шура вышла во двор. Часть белья уже высохла на майском ветерке, кальсоны болтались на верёвке, резала глаза белизна простынь. Оставалась самая трудная часть работы: замоченные бинты, халаты, наволочки. Шура поставила в корыто стиральную доску, вытащила из бака горячее вываренное бельё, намылила и начала жулькать и шоркать по рифленой поверхности. Руки покраснели от горячей воды, защипало мелкие ранки и ссадины на пальцах, пена запузырилась белой шапкой. Хорошо, что пришло лето, стирать можно под навесом. А зимой на кухоньке, где повернуться-то трудно, крутиться приходилось! То и гляди, как бы девчонки таз на себя не опрокинули да в корыто не угадили.

Александра Александровна стирала, а мысли текли одна за другой. Мысли про всё: про детей, войну, ожидаемый мир, внуков, мужа... Руки тёрли бинты, полоскали, развешивали длинными лентами на верёвку, снимали высушенное бельё – они знали свою привычную работу. Шура думала и о себе. Просила Бога дать ей здоровья, чтобы поднять на ноги всю эту ораву, вырастить их, дождаться, если получится, правнуков. Чтобы Ивану Михеевичу стало полегче, насколько можно. Чтоб брат нашёлся живой и здоровый. Чтобы Вовка человеком стал стоящим. Чтобы Алёшка выучился на инженера или на мастера. Как уж получится. Хвалит его сосед, говорит, башковитый, металл чует. Чтобы Нина в одиночестве не осталась. Чтобы Мария угомонилась, зажила осёдлой семейной жизнью. Да много ли каких мыслей придет в голову, пока руки заняты?

На улице раздались крики, выстрелы, загудели клаксоны автомобилей.

– Господи, неужели японцы полезли? – перекрестилась Шура, бросив недостиранное бельё назад в корыто, кинулась к калитке. Но калитка раскрылась, и в ограду влетел Вовка:

– Ура! Ура! Фрицы сдались! Немцев разгромили! Баба! Баба! Победа! Победа!

Он кружил вокруг Александры Александровны в немыслимом танце, скакал молодым козликом, кувыркался, делал стойку на руках, болтая в воздухе грязными пятками:

– Мы их раздолбали! Мы их раздолбали! Пусть не лезут! Капут войне!

Ноги у Шурочки подкосились, она села прямо здесь же, посередине двора около чурки. Села и заплакала, не веря, что кончилась эта проклятая война, искалечившая столько человеческих судеб, сгубившая миллионы молодых, здоровых людей, которые так хотели жить...

– Баба, ну что ты плачешь? Война же кончилась. Всё, кончилась!

Вовка неумело подлез под Шурину руку, вытирая ей слёзы. Александра Александровна обняла внука, ткнулась лицом в его пыльную рубашонку:

– Да, да, Володька, неужели она кончилась? Пошли, сообщим дедушке радость!

Она устало поднялась, будто эта долгожданная новость сразу забрала у нее все последние силы, обняла Вовку, и они вдвоём шагнули в тёмные сенцы дома, где их ждал Иван Михеевич.

Мало что здесь изменилось. Моя бабушка, Александра Александровна Малюгина, коренная забайкалка, гуранка, как её называл мой отец, умерла уже в конце шестидесятых, прожив долгую жизнь, увидев и внуков, и правнуков. Она была мудрой женщиной, спокойной, пусть и суровой, но справедливой. Жаль, я её видела всего два раза.

Мои мать и отец вместе прошли Монголию, оба были награждены медалями «За победу над Японией». Поженились они в мирное время. В начале пятидесятых переехали сюда, в Сибирь. Кроме старшей дочери, у них родились ещё дети, в том числе и я, самая младшая. Мой дядя выучился, как и мечтал, на инженера и работал начальником инструментального цеха на Читинском паровозоремонтном заводе, где токарил подростком. Помню фотографию, сделанную, скорее всего, уже после войны: маленький пацан, чуть выше станка, что-то точит. Гошка перед армией заезжал к нам в Тайшет, служил на Тихоокеанском флоте, затем уехал к матери в Казахстан, всю жизнь проработал на шахте, где до перестройки был главным инженером. Вовка служил на границе, потом работал сварщиком. Мария устроила свою жизнь, уехала на север. Все выучились, все встали на ноги.

Имена, кроме имён Александры Александровны и Ивана Михеевича, изменены. Я очень жалею, что не записывала в своё время рассказы родителей, многое стёрлось из памяти. О войне они вообще не любили вспоминать. Папка, когда отмечал день Победы, всегда пел песню «Враги сожгли родную хату». И плакал. И снова её пел. И снова плакал. Орден Великой Отечественной войны ему вручили где-то в начале восьмидесятых. А в восемьдесят шестом он умер. Мама пережила его на восемнадцать лет. Свою знаменитую косу она обрезала перед самой смертью...

Ка ба зуть

Ребёнок был чужой. Одетый в штанишки и футболку, с коротко подстриженными волосами, торчащими во все стороны, он сидел на стульчике за столом и ел. Ребёнок был немного странный. Он не баловался, не болтал ножками, не глядел по сторонам – он ел. Перед

ним стояла чашка супа, на разделочной дощечке лежало мелко нарезанное сало, свежий огурец. Ребёнок, абсолютно не обращая внимания на Наталью, хлебал суп, пухлыми пальчиками цеплял кусочки сала, впихивал его в ротик, туда же отправлял огурец, жевал, вздыхал, снова прихлёбывал супом. Он даже не вертел головой, не отвлекался. Он насыщался. Доев сало и огурец, он допил остатки супа через край чашки, вытер губёшки и слез со стула:

– Ка ба зуть? – спросил он на своём тарабарском.

Наталья не поняла вопроса, тем не менее, ответила:

– Да ни жуть ничего.

Ребёнок был девочкой трёх с половиной лет. Пухленькой, с карими глазками, ещё плохо говорящей, из-за этого казавшейся немного странной. В первую очередь странность кидалась в глаза как раз во время еды. Обычно дети очень шустрые, егозливые, а эта сидит тихо, кушает, и ничего её не отвлекает от процесса насыщения. Как-то это было немного неправильно. И эта неправильность напрягала Наталью, заставляла внимательно приглядываться к ребёнку, выискивая (не дай Бог!) следы отклонений в развитии. В её сердце ещё не было тепла к маленькому ребёнку, и не потому, что, мол, она такая чёрствая, а больше из-за того, что само появление ребёнка было неожиданным.

Девочка подошла и протянула ручки:

– Луки кака.

– Ну, тогда пошли мыть.

Здесь Наталья поняла, что от неё хотели. Вымыв ручонки, Наталья посадила девочку на диван, дала ей пару мягких игрушек, высыпала из коробки всякую мелочёвку, которой играли её внуки от дочери, и вздохнула:

– Ну, давай играть.

Девочка потянулась к медвежонку, прижала его к себе и впервые взглянула в Натальины глаза:

– Ка ба зуть?

– Господи! – подумала Наталья. – Да что это такое, твоё «ка ба зуть»? Хоть взгляд-то ничего, чистый. И улыбается. Стало быть, нормальный ребёнок. Да не знаю я, что за жуть! Миша это. Есть у тебя такой? Повтори: Миша.

– Мися! – засмеялась девочка, и у Натальи полегчало на сердце.

Когда полчаса назад она вернулась домой из магазина, девочка уже была у неё и сидела за столом. Муж на бегу успел только сказать:

– Сын там тебе подарочек подкинул, через час придёт, знакомить нас будет с невесткой.

И уехал по своим мужицким делам, не сказав, как зовут ребёнка, и что за невестка придёт через час, оставив Наталью ошарашенной. Просто, как и большинство мужчин, ушёл таким хитрым способом от расспросов. Сын и ранее говорил про свои перемены в личной жизни, говорил, что есть ребёнок у его подружки от первого несложившегося брака, а больше ничего не рассказывал. И вот сейчас этот «подарочек» сидел на диване, играл с медвежонком и время от времени повторял своё непонятное «ка ба зуть».

Наталья была не против невестки с ребёнком. У сына к его тридцати двум годам уже были попытки создать семью, да всё неудачные. Слава Богу, что детей не заводили гражданские жёны, и сын не разрывался сейчас душой между детьми и пассиями. Он-то хотел семью, нормально относился к обязанностям главы семейства, да вот не был денежным, оборотистым, наглым, таким, какие как раз и нравятся многим нынешним девчонкам, которые сами ничего не могут достигнуть в жизни, пробиваться им лень, учиться тоже лень, а вот мыслят одинаково: муж должен всем обеспечить. Соответствовать их запросам. Но, чтобы ждать принца, ты сама должна быть принцессой. Душой, телом, разумом...

А Наталья для себя давно решила: да пусть хоть какая будет её невестка – рыжая, пегая – лишь бы хотела семью, простого счастья, любила её сына и строила с ним своё будущее. И, ради Бога, не была склонна к выпивкам. Наталья сама не любила пьяных, видела этот повальный интерес баб к водке. Одна из претенденток была любительницей пива. Хватит! С этим бы она не смогла смириться, на это и сына настраивала. Они люди простые, гламурных див им не надо, согласны на не принцессу.

И вот кого она через час увидит? Какая она, невестка? Понравятся ли они друг другу? Или сразу антипатия возникнет? Жить-то придётся всё равно рядом... Они с мужем давно хотели, чтобы сын устроил свою личную жизнь, тогда и им было бы спокойно готовиться к старости...

Ребёнок тем временем освоился на диване, разобрался с игрушками, начал что-то щебетать. Наталья разбирала некоторые слова, улыбаясь своим воспоминаниям: она сама картавила лет до десяти, а до школы её речь вообще понимали немногие. Ничего, всё встало на свои места, научилась и она грамотно и чётко

разговаривать. Сейчас ничего и не напоминает о её детской картавости.

Наталья достала конфетку, протянула её девочке и, присев рядом, сказала:

– Вот даже имени твоего не знаю... Сейчас приедет твоя мама и будем знакомиться.

– Мама! Пийдёт! – повторила девочка и повертела головёнкой по сторонам. – Где мама?

– Немножко уже осталось ждать! – Наталья убрала рыжеватые волосики со лба, пригладила их, почувствовав, как ребёнок доверчиво отнесся к её ласке. Эта доверчивость растопила остатки её настороженности. – Давай, ты посиди, я обед греть поставлю.

Стол уже был накрыт, когда залаяли собаки в ограде, послышались шаги в сенях, открылась дверь. Первой вошла молодая женщина, невысокая, не худая и не толстая, не красавица, но и не страшная, с ещё девичьими чертами лица, немного настороженная первой встречей. Сзади её тихонечко подталкивал сын, улыбаясь и разводя руками: вот, мол, мама, прошу любить и жаловать!

Девочка соскочила с дивана, кинулась к маме, прижалась. Та погладила её по спинке и улыбнулась:

– Не сильно она вас утомила? Ой, здравствуйте! Извините, совсем растерялась!

«Да вроде нормальная бабёнка! – подумала Наталья с облегчением, улыбнувшись будущей невестке. – Там дальше видно будет, разберёмся».

– Раздевайтесь, проходите к столу, будем знакомиться. Меня зовут Наталья. Можно и Ивановна. А тебя как?

– Нина.

– Ну и славно! Мойте руки, будем обедать. С дочерью мы уже познакомились. Кстати, а что такое «ка ба зуть»? Она так часто это повторяет, а я её не понимаю...

– Ка ба зуть? – ненадолго задумалась Нина и рассмеялась. – А-а, это она вас спрашивала: «Как тебя зовут?»

Онколюди

Глава первая

Ирина чувствовала себя лягушкой, распятой на столе лаборанта. Унижали сама поза, состояние беспомощности, и ей, женщине в возрасте, было стыдно лежать на гинекологическом кресле. Она, конечно, понимала необходимость осмотра, но «совковое», как нынче любит говорить молодёжь, воспитание не давало ей возможности расслабиться, избавиться от стеснительной зажатости.

Хищно брякали инструменты о край кюветки – звуки эти били по нервам, заставляя сердце замирать каждый раз. Врач копалась в Иринином животе, отщипывая кусочек её плоти на биопсию. Ощущение в боку было болезненное и неприятное. Ирина понимала: боль надо терпеть, без неё не обойтись, поэтому только в очень острые моменты тихо постанывала. Врач ей нравилас: женщина была обходительная, вежливая, руки её были мягкие и ласковые. Делая свою работу, она уговаривала Иру:

– Да вы не волнуйтесь. Сейчас вас посмотрим, отправим анализ в область, а там уже будем решать. Одно советую безоговорочно: оперироваться надо, вам ещё жить да жить, зачем вам эта болячка. Сами понимаете, возраст у вас уже такой, что она в любой миг может перерасти в злокачественную опухоль.

Не волноваться не получалось. Ирина ни разу не оперировалась, Бог её миловал, избавил от этого «удовольствия». А вот сейчас, в шестьдесят лет, придётся готовиться к этому шагу. Хоть она и была женщиной стойкой, за годы жизни держала удар не раз, всё равно эта операция была очень не вовремя... Или, наоборот, вовремя? Тут уж с какой стороны посмотреть. И она мысленно уже соглашалась и на операцию, и на временную беспомощность, и на боль.

Ей помогли спуститься со стола, поддерживая под руки, довели до кушетки в соседней комнате, уложили:

– Полежите, лидокаин отойдёт, и можно будет идти домой.

Таких, как она, страдалиц, было четверо. Кто уже по сотовому телефону разговаривал, кто начинал потихоньку собираться домой. Ирина, закрыв глаза и свернувшись клубком, лежала, отстранившись

от всего. Мысли были вялые, серые. Они появлялись ниоткуда и уходили в никуда. И Ира, почувствовав себя одинокой в этой комнате, даже подумала, что может и заснуть здесь, на этой жёсткой кушетке, полностью отгородившись от всех проблем на работе, семейных забот и дел.

Боль, довольно терпимая сразу, вскоре ушла совсем, и Ирина тоже стала собираться.

«Николаю ничего не скажу пока, потом, если точно будут оперировать, придётся рассказать», – решила она по пути домой. Муж у неё был хороший, они прожили вместе уже почти сорок лет, вырастили детей, дождались внуков и были действительно счастливы в своём семейном мире. Им многие, лишённые этого семейного счастья, тихо завидовали, но и уважали: пара была приятной во всех отношениях.

Следующие две недели Ирина, потихоньку отпрашиваясь с работы, бегала в поликлинику, сдавала анализы, проходила ЭКГ, сидела в очереди к терапевту. Куча бумажек в её карточке росла: одни были успокаивающие, другие вызывали у врачей настороженность. Побегав по кабинетам, Ира как-то сказала мужу:

– Если тебя спросят, что это твоя жена по больницам бегает, не пугайся, это я прохожу обследование. Помнишь, лет двадцать назад киста была? Вот, заставили обследоваться, сдать все анализы.

– У тебя же всё тогда прошло?

– Ну, а сейчас профилактика.

Две недели, пока не пришёл результат анализа, Ирина старалась не думать о худшем. Судьба её не подвела: анализ пришёл нормальный, опухоль была не злокачественная. Но врач на очередном осмотре ей сказала:

– Ирина Петровна, к сожалению, размеры опухоли таковы, что здесь я не имею права вас оперировать. У нас инструкция гласит, что с такими размерами опухоли вас надо отправлять в область, в онкологический диспансер. Собирайтесь, мы вам напишем направление, там возможностей больше. Главное, не волнуйтесь, не переживайте, не бойтесь названия.

– Да я и не похожа на раковую больную, – прикинулась бодрячком Ирина.

– Конечно! – ответила врач, внимательно посмотрев на неё долгим взглядом... Она за свою медицинскую деятельность видела всякое...

Областной центр встретил её дождем, довольно холодным для июня. Ира немного ориентировалась в городе, но не стала добираться с пересадками в автобусах и маршрутках, села в такси. Дорого, да быстро.

В больнице нашла регистратуру, показала направление, получила квиточек с номером кабинета. Заняла очередь и стала тихонько оглядываться по сторонам.

В кабинет онколога-гинеколога жаждали попасть человек двадцать. Женщины были разного возраста: молодые и старые, уверенные в себе и сникшие, ищущие разговора с соседками по очереди и ушедшие в себя. На их лицах и читалось разное. На одних было: «Я здесь временно, случайно, ничего общего с вами не имею! Это просто ошибка!» На других, наоборот: «Ну что ж, болезнь не выбирает, к кому прицепиться. Да, трудно. Но вылечимся!» Были и третьи: «Всё, жизнь кончена! Это рак! Как мне плохо! Я смертельно больна! А вы не понимаете, мне не сочувствуете!» Редким исключением были оптимисты. Нет, они не хохотали радостно, просто глаза у них не потеряли осмысленности и сияли блеском жизни. Они заранее бросали вызов болезни, заранее предупреждали её о своей победе. Или хотя бы о должном сопротивлении.

Коридор был узок. Вроде и скамеек хватало, но сидеть на них приходилось выпрямившись, иначе ноги мешали вечной беготне персонала. А когда везли кого-нибудь на коляске, то всем приходилось вставать и пропускать больного. Ирина, не выспавшаяся в поезде, прикорнула, не заметила даже, как. Очнулась от громкого голоса:

– Здравствуйте, онколюди! Приём уже ведётся в этом благословенном кабинете?

Женщина, высокого роста, в цветастом халате и платке, указывающем на не первую процедуру химиотерапии, стояла в конце очереди и ждала ответа. Кто-то ей ответил, кому-то и она снова что-то сказала – Ира не расслышала. «Онколюди... А ведь меткое название. Раковые больные ведь как особая каста. Как там у Солженицина? Раковый корпус? Да, печать болезни как клеймо. Ведь и на меня, хотя ещё диагноз и не подтверждён, тоже смотрят как на онкобольную: с состраданием, с каким-то болезненным любопытством... Справлюсь или нет? Сдамся или выстою?» Ирина незаметно стала разглядывать женщину. Бледная кожа, неправильная худоба, платок на стриженой голове – досталось, видно. Но открытая улыбка, уверенность и доброта во взгляде, весёлый бодрый голос заставляли не замечать

признаков болезни, а, наоборот, вселяли уверенность в том, что она уж точно выберется из этого капкана. Хотелось поговорить с ней, узнать, где она черпает силы сопротивляться этой чёртовой напасти. Вдруг и у неё, на осмотре, выяснится, что опухоль раковая? Сможет ли и она в случае осложнений (не дай Бог!) так же ходить, смеяться, шутить? Нужно ли обижаться на это обращение – «онколюди»? Ведь всё правильно, как ни грустно...

Женщина ушла к себе на этаж, где были палаты оперируемых. В коридоре наступила тишина, редко нарушаемая то шагами, то скрипом двери, негромкими разговорами. Очередная больная, с большой сумкой, сипло дышащая, с трудом, медленно двигающаяся, подошла к очереди:

– Женщины, пропустите меня, пожалуйста! Мне вот только стёклышки отдать, а у меня через два часа поезд. Меня сегодня из областной после операции выписали, а анализы саму отправили отвозить сюда.

Очередь молчала угрюмо и настороженно: честно говоря, отсидев часа два-три, никому не хотелось кого-то пропускать. Да кто её знает, может, врёт? Без очереди лезет? Ловких таких много.

– Мне не на приём, мне вот только отдать... – заплакала женщина, вытирая под очками опухшие глаза. – Я опоздаю на поезд, а денег жить здесь дольше уже нет...

Ирина тоже промолчала: ей ещё сидеть было очень долго, и от неё мало что зависело...

– Я не пропущу! – категорично заявила одна дама, занявшая очередь, кстати, за Ириной. – Я и так платно, а сижу, как все!

– А я пропущу, да сама только перед вами заняла! – засмеялась другая, как-то враз разряжая обстановку. Женщины зашевелились, стали расспрашивать, почему её самостоятельно отправили с анализами.

– Да вы у первых попроситесь, – не выдержала Ирина, – кто сейчас заходить будет, они пусть решают.

Женщина стала пробираться к дверям кабинета, а Ирина соседка по очереди, не та, которая пропускать отказалась, а другая, не возмущавшаяся, сказала:

– Лишь бы не обманывала.

– Да ладно, может, и нас когда-нибудь пропустят.

Ирина вспомнила, как и ей однажды пришлось уговаривать очередь в подобной ситуации, как очумевшие от ожидания люди

набросились на неё с сыном, не веря, что она иногородняя и ей до поезда оставалось два часа... У неё и билеты были на руках. Хорошо, заведующая отделением вмешалась, поверила...

Плачущую женщину пропустили, она вышла через несколько минут, поблагодарила всех:

– Спасибо вам, что пропустили. Я и так здесь две недели. Сначала жить пришлось на квартире, пока анализы сдавала, да и платить пришлось за них, чтобы быстрее сделали. Здесь же ведь как: назначат через две недели, но бесплатно. А живи, где хочешь. А платно так и время есть, и кому делать. Пришлось платить. Потом вот прооперировали, неделю продержали и – домой. Да ещё анализы заставили самой отвозить. Ещё раз вам всем спасибо!

Дождалась своей очереди и Ирина. Повертели её, посмотрели, заполнили карточку. Расспрашивали, когда какие анализы сдавала, как заболела. А вот этого у вас нет, а вот это вам надо дополнительно сдать. Это вот вам назначено на пятое, а вот это – на одиннадцатое. Делайте и приходите. Заведующий будет решать, как с вами дальше поступить.

С кучей бумажек в руке Ирина вышла из кабинета, немного оторопевшая от приёма. Нет, вроде вежливо, без грубости приняли. Но как-то чёрство. «А что ты хотела? Улыбок и конфет? Что сразу положат на операцию?», – спросила себя Ира. – «Ты одна из тысячи таких же. Здесь же поток, им некогда быть сердечными с каждым. Пошли сдавать анализы...»

Всё верно: самый поздний анализ удалось за плату в тысячу рублей перенести и записаться на завтрашнее число. Хотелось быстрее закончить со всем этим. Хорошо, что хоть проблема жилья Ирину не волновала. У неё были ключи от квартиры дочери, уехавшей с семьёй на отдых. Это было обговорено заранее, видишь, пригодились!

Странно было находиться в квартире, пусть и дочериной, но всё равно не своей. Ирина включила чайник, поставила воду в кастрюльке на пельмени – за весь день она ещё ничего не ела, кроме чая с булочкой в поезде. Обошла квартиру, подняла носок внука около его кровати, поправила на спинке кресла юбку внучки – здесь всё дышало её родными и близкими. Тишина давила на неё, но одновременно несла с собой и так необходимое ей спокойствие в мыслях. Было ощущение, что она бежала, бежала, что-то делала, куда-то

торопилась, а вот сейчас ей надо остановиться и осмотреться. Подвести черту в этой гонке по жизни.

Так в тишине пришёл вечер. Ирина отзвонилась домой мужу и куме. Даже телевизор не включала – он был сейчас такой лишний. Начитавшись до одури, легла на внучкину постель, но уснуть сразу не смогла. Она понимала, что эта болячка – прежде всего следствие её очень напряжённой и хлопотной жизни в последний год. Ей пришлось много понервничать на работе. Она не могла оставаться спокойной и выдержанной в сложившейся ситуации. Старалась, конечно, но всё равно чувствовала, как часто мысли о работе вызывали у неё негативный отклик. Не сказать, что её как пенсионерку третировали, намекали на увольнение, нет. Просто пришло время новых людей, новых правил, новых требований, которые были ей не по душе. Начальниками нынче становились те, кто более чёрств душой, резок, деспотичен. И ей пришлось ломать себя, привыкать к этим новым требованиям, к новому порядку, при котором было множество указующих. Где-то и сама она в этой беготне наделала ошибок: там просмотрела, там опечаталась, там что-то пропустила. Ирина уже хотела было плюнуть на всё и уволиться, да как-то сразу сесть на пенсию мешали вечные денежные проблемы... Вот эти нервные передряги и вылезли ей боком. Остаться на прежнем месте работать значило снова наступить на те же грабли. Уволиться? Ну что ж, люди живут и на меньшую пенсию и ничего, не умирают. А она деятельная, найдёт более спокойное место. Зато напряжённость пройдёт, не будет этого вечного чувства вины. Так, поворочавшись ещё немного, и уснула Ирина с этими размышлениями.

Следующие три дня она ездила в диспансер, сдавала кровь на онкомаркеры, проходила одну положенную процедуру, другую. Насмотрелась на разных больных, ощутила и боль чужую, и бессилие, и, наоборот, настырность и желание жить. Один случай так потряс её, что она даже не смогла сдержать слёз... В очереди перед кабинетом сидел старик в поношенном пиджаке. В одной руке он держал пакет из-под сахара с вещами, другой тихонько гладил худые плечи своей жены. Старушка в белом платочке лежала рядом с ним на скамейке, закрыв глаза. Какая-то молодая женщина спросила его про очередь. А старик, посмотрев на неё беспомощными глазами, ответил: «Проходи, дочка, мы уже никуда не торопимся...» И столько было боли в его словах, что у Ирины горло перехватило от бессилия! Господи, сколько человеку приходится пережить в страданиях! Неужели все здесь

собранные люди так нагрешили, что Бог дал им в наказание этот чёртов рак? Чем эта старушка виновата? Прожила всю жизнь, по ней видно, в вечных трудах, не накопив богатства, не пожив всласть, и вот в конце вынуждена страдать?! Да ещё как страдать! А молодые умирают? Дети? Ирина не могла смириться с этим положением дел, не могла принять такие устои религиозной морали. Виноват человек – ну, наказывай его самого, тыкай его носом, чтобы он сам понял. А почему дети должны за кого-то страдать?

Она вспоминала своих детей, внуков, и сердце её сжималось тягучей болью за них. Мысли против её желания лезли в голову, мысли неправильные, чёрные. А если она не переживёт операцию? Если у неё диагноз будет такой же? Если ей предстоит пережить все эти химии, облучения? Выдержит ли она? Хватит ли у неё сил сопротивляться? Ирина гнала эту черноту от себя, говорила себе мысленно: она выдержит, она сильная, у неё просто рядовая операция. Ну, выросло, что не надо. Вырежут. Выздоровеет. Не она первая, не она последняя. Сжав в руках бумажки с результатами анализов, она сидела перед кабинетом заведующего отделением, ожидая своей очереди. Она ждала.

– Следующий!

И Ирина открыла белую дверь кабинета.

Глава вторая

Из наркоза Ирина вынырнула, как из глубины моря. Такое же ощущение было у неё в далёком детстве, когда она тонула, правда, на речке. Её сбила с ног быстрина, и она буквально в двух шагах от берега ушла под воду. Волосы залепили ей лицо, не позволяя сделать вдох, она забилась в воде, не способная ни крикнуть, ни встать на ноги. Парнишка, чуть старше её, просто прыгнул с берега, схватил за руку и вытащил на мель. Это ощущение беспомощности осталось у неё на всю жизнь. И вот сейчас она испытала такое же удушье, забилась в каких-то путах, трубочках, чтобы глотнуть хоть маленько воздуха, перед глазами среди темноты плавали островки непонятного света, на лице что-то мешало, руки не слушались её. Она не чувствовала своё тело, не чувствовала себя, среди пустоты билась только одна мысль: это я? Потом в сознании мелькнуло: операция! Тут

же ощутила боль в животе и подумала: раз что-то болит – она на этом свете! Живая!

– Тише, тише, лежи! Всё в порядке! – услышала она голос, пробивавшийся как сквозь вату. – Сейчас, потерпи!

Невидимый человек убрал что-то с лица, вытер его влажной салфеткой, развязал руки. Зрение ещё не сфокусировалось, только над головой стала видна часть потолка. Некстати пришло сравнение, что она – как голова профессора Доуэля! Тела нет, только одно сознание! Через минуту всё это опять ушло в темноту, в сон, в забытье.

Потом Ирина снова просыпалась, всё чаще, всё осознаннее. Вспомнила, как она почти неделю лежала в отделении, как её готовили к операции, водили по дополнительным процедурам. Как настал назначенный день, как её привели в операционную, помогли лечь на стол, как она перед введением наркоза только и успела подумать: «Господи, верни туда, где взял!», и ушла в темноту. Ирина не столько боялась за саму операцию, как за сердце. Боялась, что оно может не выдержать наркоза.

На следующее утро их выписывали из реанимации. Зашёл заведующий отделением, по очереди подошёл ко всем троим прооперированным. Первым двум сказал: «Операция прошла нормально, опухоль доброкачественная», а Ирине – только про операцию. Она заметила разницу и во время следующего его появления переспросила. Тот сделал предупреждающий жест руками: «А вам всё расскажет лечащий врач!»

И потянулась неделя выздоровления и ожидания. Шов заживал быстро, Ирина уже через день тихо передвигалась по отделению, но про опухоль ей так ничего и не говорили. «Вот будет готова гистология, скажем уже официально». И уже в день выписки, комкая разговор, выдали ей бумажку, поясняя, что придётся пройти курсы химиотерапии, но это не страшно: стадия у неё первая, шансы хорошие, пусть она не переживает – и так далее. Поезжайте домой, через месяц ждём вас снова в диспансере. Ирина вышла на улицу, ошарашенная информацией. Как в тумане вызвала такси, села в машину и ничего первое время не понимала. В голове крутилась одна мысль: «Чуда не получилось!» На выписке из больницы, так и зажатой в руке, в глаза кидалось одно слово: ЗНО...

Шофёр такси, крепенький парнишка-бурят, покосился на неё, понял душевное состояние пассажирки и стал потихоньку уводить

Ирину разговорами от её тяжёлых дум. Это помогло сдержаться, не расплакаться. Ирина собралась с силами, выкинула всё плохое из головы – хоронить себя рано – начала поддерживать разговор. Ей стало легче. Она искренне поблагодарила шофёра за поддержку совершенно чужого ему человека...

А впереди ещё была встреча с родными, друзьями, месяц жизни до химии... И надо было держаться, не поддаваться страху, не показывать виду...

На первый курс она приехала в отделение химиотерапии, сжавшаяся вся в ожидании. Хоть кума и рассказывала ей, что и как (сама пережила подобное три года назад), всё равно всё это было впервые, неизведанное, непонятное. В палате, куда попала Ирина, было уже три женщины: две чуть постарше её, Галя и Люда, а одна молоденькая, Алина. Галя с Людой, уже знакомые между собой раньше, были опытные, лежали здесь несколько лет назад. Именно они ввели Иру в курс дела: как ставят капельницы, как действует химия, как менять «фуфырики» с лекарством, когда начнут выпадать волосы...

– Ты не жалей их, кончится химия – вырастут новые! Ещё лучше прежних! Главное – выбраться из этой напасти! Мы вот, видишь, лысые! Сейчас татушки на макушках нарисуем – и красота!

Обе попали в онкологию во второй раз, рецидив... Обе не теряли бодрости духа, обе шутили, у обеих была четвёртая стадия... Они радовались каждому дню...

У Алины тоже был рецидив. Десять лет назад расцарапала родинку на свою беду. Кто бы подсказал, что нельзя, а так маманьке было не до неё, а в деревне кому нужен подросток, дочь местной достопримечательности... Тот рак кожи ей вылечили. Алина выросла, похоронила мать, вздохнула спокойно, вышла замуж, родила дочку. Года четыре жила, не веря своему спокойствию и счастью, как вдруг стало опухать под мышками – рак возродился в лимфосистеме... И вот сейчас всё повторялось: уколы, капельницы и – новые метастазы... Только кончились силы сопротивляться...

Ирину удивила атмосфера в отделении. Здесь сторонились ноющих, причитающих, а тянулись к бодреньким, неунывающим, сами при этом тоже старались поддержать их. Все понимали чужую боль, да она и не была чужой – она была общей. При встречах со знакомыми радость была искренней: живы! При разговорах обменивались информацией, кто поправился, кто сколько уже прожил здоровым, как

кто справлялся с последствием химии, кто какие принимал лекарства, травы... Или с состраданием узнавали про тех, кто сошёл с дистанции под названием жизнь... Здесь все жили по другим законам, жили на особой планете – ОНКОЛОГИЯ... Остальная жизнь была где-то далеко, в нереальности...

Ирина не сторонилась остальных больных: участвовала в разговорах, прислушивалась, сравнивала с собой. Разговоры помогали ей не уйти в омут отчаяния, в слёзы и бессилие.

– Ну, рак! Ну, болезнь! Подлючая, гадина! Исподтишка подбирается, возвращаться любит! Смертельных исходов много, особенно, если поздно спохватились! Но ведь и от гриппа умирают! От сердца и других болячек! Что же, сдаваться? – женщина, что положили на место выписавшейся Гали, была тоже, как и Ирина, новичок в болезни, но оптимизма и чувство юмора не теряла. – Разница в подходе и в отношении к смерти. Конечно, все хотят жить долго и здорово! Но ведь вечно никто не живёт! Все когда-то умрём, дай Бог попозже! Внуков ещё дорастить надо до пенсии, правнуков потетешкать! Так вот тоже живёшь, ходишь – а завтра тебе кирпич на голову упадёт или пьяный водила в остановку врежется, на которой ты стоишь. И прервётся твоя жизнь неожиданно! И рака не было, здоровая жила! А при раке ты уже понимаешь, как хрупка твоя жизнь, начинаешь ценить каждый миг и час, радоваться каждому дню! К Богу все придём, к нему опозданий не бывает, просто, у каждого свой срок... Нос вешать не надо. У оптимистов, конечно, тоже стопроцентная смертность, но они живут веселее! Понимаю, тяжело! А кому здесь легко?

Вечерами новенькой звонили. Звонков было много, но всем она отвечала, смеясь, даже когда ей было тяжело. Смеялась над собой, над своим состоянием:

– Группа поддержки моя! Разболеться-то стыдно, не дадут!

Ирину сначала даже раздражала эта бодрость, ей казалось, что оптимизм был искусственный, нарочитый. Может, была лёгкая зависть – ей не звонили так часто. Но потом, прислушавшись к разговорам, поняла: нет, просто человек не хочет, чтобы его жалели, жалость сил не прибавляет...

Первый день курса химиотерапии прошёл не заметно: поставили капельницу, влили в неё литра три раствора – живём дальше! А после второго уже начало сказываться. На следующее утро, часов в шесть, Ирина уже висела на раковине в туалете, скрючившись от приступа

рвоты: пустой желудок выворачивало наизнанку горькой пеной, казалось, глаза лопнут от напряжения. Но Ира потом заметила: утром помучаешься – днём полегче. После третьего дня была слабость в ногах, тяжело было стоять, хотелось облокотиться на что-нибудь, присесть. Появилась головная боль, желудок дал о себе знать расстройством, тошнота стала постоянным чувством... Рот пересыхал, пища не лезла, казалась безвкусной и шершавой.

Врач-химиотерапевт, Екатерина Алексеевна, молодая женщина, привлекательная в своей крупности и миловидности, обходила больных с утра пораньше. Терпеливо отвечая на вопросы, она разъяснила Ирине суть лечения:

– Да, это яд, мы травим рак и вас. Вы должны победить, чтобы вылечиться. К сожалению, пока это самый эффективный метод. Организм должен справиться с отравлением, химия потом выйдет. Две недели отдохнёте дома, потом приедете на второй курс. Пейте больше чистой воды, кушайте всё, не унывайте. И выполняйте все наши рекомендации!

В конце курса Ирина, даже лёжа на кровати, ощущала, как её качает. Состояние было, по определению соседки, как у дохлой селёдки, но она видела, что другим не легче, и стойко терпела. После ужина, тихо передвигаясь, выходила на улицу, садилась на лавочку, стараясь надышаться свежим воздухом. Были силы – бродила по дорожкам диспансера среди таких же больных, звонила домой. Это был её час, час спокойствия, час одиночества. Была только одна мысль: «Господи, дай сил и терпения вынести всё это, пережить, устоять!» Она, хотя и некрещёная, понимала, что есть что-то в мире более главное, чем человек. Бог, Природа, Высший разум... И этому главному зачем-то нужны были люди с их проблемами и делами. Поэтому у них просила сил и терпения...

Закончив первый этап лечения, Ирину выписали. Дали бумажку с рекомендациями, сказали, когда приехать на второй курс, и отправили домой. Дома дочь, с внуками приехавшая к ним, подхватила эстафету по хозяйству, не давая матери делать тяжёлую работу. Да она и лёгкую не могла – в руках совсем не было сил, а тут ещё кашель прицепился сильный, ночами бессонница мучила, заставляя таращиться в окно. Но тем не менее крепилась, копошилась по дому, старалась не раскисать. Дома ей всё было как в новинку, казалось, что она отсутствовала очень долго, а не полторы недели.

Ирина ходила по огороду, радовалась каждому цветку, помидорчику, трогала яблочки, уже покрасневшие с бочка, заглядывала в лица подсолнухов, буйно желтевших среди картошки, улыбалась всякой живности и всякому овощу. Внуки крутились здесь же, будоража её своими проделками, вопросами. Она гладила их головёнки, вдыхала их родной запах, заглядывала в их глаза и понимала – надо жить! Она была благодарна и мужу, и детям за поддержку, понимание, за то, что они не смотрели на неё жалостливо, как на конченого, больного человека, а наоборот, вселяли уверенность: всё будет хорошо!

Буквально за несколько дней до отъезда стали выпадать волосы. Ира сначала по утрам собирала их с подушки, а затем взяла газетку и стала просто расчесывать свою шевелюру. Волосы у неё были густые, хоть и седеть начали рано, ещё по молодости. Гора волос на газетке выросла с хорошую шапку, когда Ирина взглянула в зеркало: грустные глаза, торчащие уши и... небольшой полуседой ирокез на макушке... И она, и не она... Вздохнув, она позвала Николая:

– Стриги остатки, а потом побрей. Что я буду мучиться с ними! Будем ждать новых – девчата обещали!

А потом, разглядывая себя лысую, грустно рассмеялась:

– Вот, буду я у вас теперь Далай-мама!

А потом были второй курс и третий, более лёгкие по составу лекарств, был четвёртый, такой же сложный, как и первый. Были проверки и исследования после четвёртого, после которых ей сказали: «Вам повезло, вовремя прооперировали! Всё у вас нормально! Сейчас поедете домой, а к нам через три месяца на контрольное обследование!»

Была уже дома дикая одышка, аритмия, и её сердце, не выдержав отравления, сдало. Были две недели лечения в кардиологии. Но Ирине это уже казалось пустяками по сравнению с пережитым: у неё был источник сил, обнадёживающие слова онколога «Вам повезло, вовремя..!» У неё был шанс, данный судьбой, и она изо всех сил старалась его удержать, не выпустить. Она хотела жить.

Чужой бог

Посвящается Синице Любови Ефимовне

К новеньким в отделении привыкли все: люди приходили на день-два, кто на неделю, долго не задерживались. Вот и эта женщина, Валя из Улан-Удэ, пришла в палату, поздоровалась, быстро разложила свои вещи на тумбочке. Обычно к новенькому присматривались: идёт человек на контакт или нет. Шёл – разговаривали, стараясь отвлечь от страшного диагноза. Замыкался в себе – не трогали. Не каждый мог в такой ситуации весело болтать.

В палате уже лежали две женщины: Ирина, лет пятидесяти, и Любовь Егоровна, самая старшая. Ирина с Любовь Егоровной уже встречались раньше. В одно время проходя курс химиотерапии, лежали в одной палате. Новенькая, подтянутая, стройная женщина, чуть младше Ирины, с чёрными волосами без единой сединки, держалась стойко, в подушку не рыдала, верила, что победит болезнь. Она ездила в Иволгинский дацан, молилась там, и служители ей сказали, что она вылечится, всё будет хорошо.

Любовь Егоровна, статная женщина, красивая в своей старости, бывший медик из Братска, носила православный крестик – покрестилась уже давно, ещё до того, когда ей впервые поставили диагноз – рак.

Ирина в церковь заходила, знала много религиях, но принять крещение не торопилась.

В больнице не очень-то любили, когда какая-нибудь соседка по койкам пыталась свои болячки переложить на чужие плечи. Помочь, укрепить духом – пожалуйста, а вот ноющих выслушивать – тут уж извините, своих проблем хватает. Валентина радовала своей бодростью, и все женщины быстро подружились.

– Девочки, на обед! – заглянула в открытую дверь раздатчица. – Быстренько, быстренько!

– Ира, мне только супчик принеси, – попросила Любовь Егоровна. Она передвигалась с трудом, тарелку ей было не донести до тумбочки, и Ира всегда носила ей еду в палату.

– Ну вот, опять голодовку объявляете! Как сказала врач, вам надо не просто есть, а жрать! Чтобы были силы сопротивляться! Я вам всё принесу, а вы попробуйте, поешьте. Компотик будете?

Кормили в отделении сытно, но еда после капельниц просто не лезла в горло, и многие даже не пытались что-то впихнуть в себя...

После обеда Валентина достала из сумки какую-то маленькую штучку, взяла её в руки и что-то стала шептать. Остальные ей не мешали, просто прислушивались к бормотанию, думали о своём. Так и задремали в послеобеденной тишине.

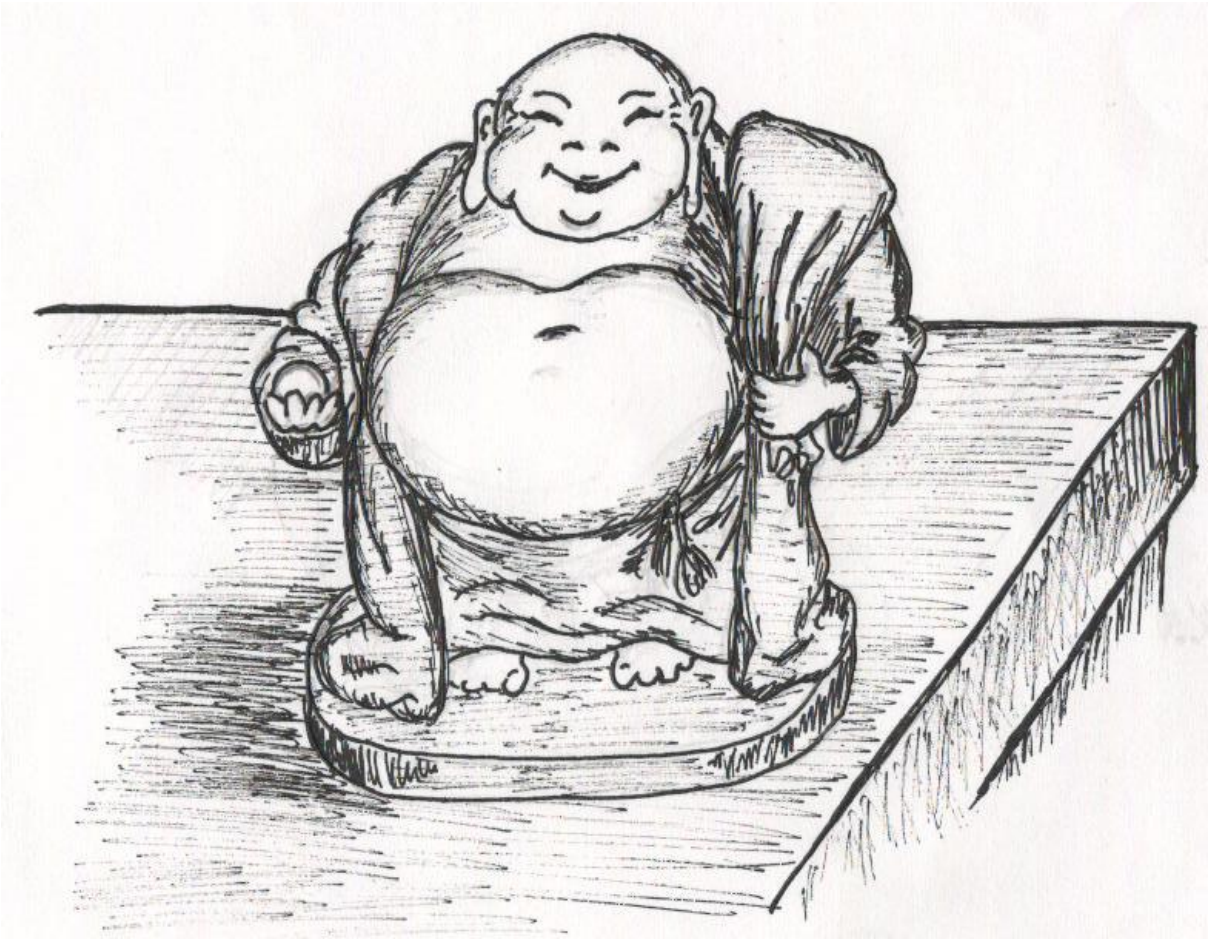
Позже Любовь Егоровна не вытерпела:

– Что это у тебя такое? – спросила, показав на фигурку маленького божка.

– Это Хотэй, бог здоровья, достатка, удачи. Видите, он несёт полный мешок, в руке у него ложка. Он ей раздаёт здоровье и удачу. Надо попросить его об этом, потереть ему животик – и исполнится.

– А ничего, что я православной веры? Он всё равно услышит? Можно и мне его попросить?

– Да попросите! По этому поводу он вроде ко всем одинаково добрый, всем улыбается.



– Ишь ты, какой весёлый! – Любовь Егоровна, разглядывая, покрутила нэцкэ[3] в руках, погладила пальцем круглый голый животик. – В дацане покупала?

– Там. Их много разных, каждый по-своему помогает. Это как иконки.

– Ой-ей-ей! Помог бы хоть, так хочется пожить...

Любовь Егоровна поставила божка на тумбочку и потихоньку, держась за стенку, вышла в коридор.

Её трудно было назвать старухой. Внешностью она напоминала королеву Великобритании – гордый вид, осанка, чувствовалась стать. Только болезнь отнимала все силы, да возраст был уже преклонный. У неё был сын, живущий в Подмосковье, дочь в Москве, внучка в Австрии. Там, где-то под Веной, родилась правнучка, которую будущим летом должны были привезти в Россию. Вот Любовь Егоровна больше всего и хотела её увидеть...

Ирина с Любовь Егоровной сдружились раньше. Их сблизили общность взглядов на жизнь, оптимизм, чувство юмора. Возникла необходимость звонить друг другу между курсами химиотерапии, переживать друг за друга, рассказывать о себе. Они любили анекдоты, смешные истории из жизни. Слыша смех, к ним в палату заходили другие больные, тоже вспоминали что-нибудь весёлое. Люди отогревались душой, смеялись, заряжаясь этой энергией жизни – и на какое-то время болезнь отступала. Или про неё просто не вспоминали: в бодрой весёлой компании ей не было места... Иногда Люба и Ира пели песни. Тихо, в полголоса, пели всё, что вспоминали: революционные и лирические. Егоровна их знала много, поэтому запевала она, а Ирина подхватывала, где-то, может, немножко и фальшивила, что, впрочем, не портило песню, а придавало ей задушевность и искренность.

К ночи отделение затихло. Уснула Валентина, тихонько посапывая, отвернувшись к стенке. Ирина покрутилась на кровати, устраивая ноющую руку с катетером, даже чуть-чуть придремала, но затем сон ушёл куда-то, уступив место мыслям, тяжёлым и нудным. Бритая голова мёрзла без шапочки, но ужасно чесалась в ней, цепляясь отрастающими волосами за вязаные петельки. Тоненькая беленькая шапочка была специально куплена Ириной, когда ей пришлось сбрить остатки выпадающих волос: платки она не любила. В

[3] Нэцкэ – миниатюрная скульптура, произведение декоративно-прикладного японского искусства.

окно палаты заглядывала ночь, фонарь под окном помогал ей, освещая палату.

«Ещё один день я вытерпела, – думала Ирина. – Завтра ещё одна капельница, затем два дня откапывания, там и домой. На четырёх курсах остановятся или ещё два добавят?»

Ей хотелось быстрее отсюда вырваться, выматывала тошнота, слабость, боль. Она боялась, что силы кончатся раньше терпения.

Шорох отвлёк её от дум. Ирина приоткрыла глаза: Любовь Егоровна встала и, протянув руку, что-то взяла с тумбочки Вали. Ира прислушалась:

– Хотэюшка, милый мой! Дай мне здоровья! Чуть-чуть! Самую капельку! Вот такусенькую! Дожить чтобы до лета и увидеть правнучку. Хотэюшка, у тебя его вон полный мешок, здоровья-то, насыпь мне чуть-чуть, одну ложечку, мне много не надо. А я тебя поглажу по животику. Ты такой весёлый, радостный, ну дай мне капельку сил. Так хочется пожить ещё немного. Летом привезут Алиночку, кровинку мою, я хочу её увидеть хоть раз, хоть одним глазком, она у меня же первая правнучка. Помоги мне, Хотэйчик, мой миленький! Я знаю, я не одна у тебя, мне всё не надо, оставь и другим. Пусть и другие будут здоровенькими, счастливенькими... Хотэюшка... Помоги дожить до лета... Пусть я увижу правнучку и умру... Пусть будет так... Я согласна... Помоги мне, Хотэюшка! Дай мне сил ещё чуточку пожить...

Любовь Егоровна прижала к груди нэцкэ и беззвучно заплакала. Слёзы её катились по щекам, маленькими бисеринками капали на лицо вечно улыбающегося чужого божка...

Федюша

Когда в её жизни появился Федюша, жить ей стало легче. Он был её другом и защитником. Он создал вокруг неё иллюзию благополучия и стабильности, насколько это можно было сделать в их условиях. Федюша отличался основательностью даже в мелочах: любил, чтобы всё было на своём месте, ровненько, аккуратненько, как он говорил – «правильно». Ещё Федюша знал много стихотворений, рассказов, сам умел рифмовать строчки, его речь была необычной, и Вероника

первое время слушала его, раскрыв рот. Они вполне могли бы быть счастливыми...

Вероника, а попросту Верка, женщина сорока восьми лет, без определённого места жительства, закрыла глаза, снова погрузившись в воспоминания. Капельница тихонько гнала в её вены какие-то лекарства, из-под смятого больничного одеяла по трубке катетера также тихонько уходила её жизнь.

Она и не помнит, когда её называли красивым именем Вероника. Это, казалось, было так давно, что она уже и отвыкла от него. Вероника Аркадьевна Берская – она гордилась этим звучным сочетанием, думала, когда вырастет и будет учительницей, так её будут звать ребятишки. С десяток лет и звали, пока после развода с мужем не запила резко, по-черному, с тяжёлыми провалами. Никто её прикрывать не стал, и когда уже всем стало невмоготу от запаха перегара, вылетела Верка из школы в два счёта – на её место были желающие.

Попался бы ей тогда Федюша, может быть, и выровнялась бы её судьба, может, и осталась бы она на плаву. А так, за пять лет беспробудного пьянства она растеряла всё: дочь, уставшую бороться с «зелёным змием» и от стыда уехавшую в другой город за своим счастьем; квартиру, глупо проданную за бесценок черным риэлторам; свой стыд... Родня была далёкая и далеко, абсолютно чужая. Бывшая подружка тоже не имела желания возиться с пьяной бабой. А жизнь у Верки сузилась до одной мысли – хоть сто грамм, хоть чего-нибудь, лишь бы обжечь душу и забыться. И если ещё какое-то время назад, пока она была посвежее лицом и телом, пьяные мужики за первенство обладания ею и устраивали драки, то сейчас всё больше она получала оплеухи и пинки. Так и тащилась она по жизни, хотя в редкие минуты трезвости приходила к ней мысль лечь под поезд, чтобы уж наверняка...

Около неё остановились люди. Почувствовав их, Верка открыла глаза. Молодой врач-онколог, медсестра, ещё кто-то (она их не знала), глядели на неё. Верке было стыдно за свои грубые ступни ног, за руки, очень далёкие от ухоженности, за свои лохмы, пусть и помытые в день поступления в диспансер, но всё равно торчащие неопрятными прядями. Кровать стояла в коридоре, мимо ходили больные, и это тоже её унижало. Она вжалась в подушку, подтянув к подбородку одеяло, в её маленьких глазках было молчаливое ожидание.

– Ну, что вы так затянули? Ведь вы же знали свой диагноз! Вам когда было сказано приехать на операцию? Ещё в марте! А сейчас? У вас уже идёт разложение. Понимаете, вы опоздали... К сожалению, вы неоперабельные...

В голосе врача слышалось и сочувствие, и доля некой брезгливости... Последнее он, честно говоря, старательно прятал. Онколог повернулся к медсестре, надиктовал ей названия лекарств, подумав, сказал что-то про хоспис и пошёл к себе в кабинет. А Верка закрыла глаза, отстранившись от всех, и снова погрузилась в воспоминания...

У Федюши судьба тоже сломалась. Он никого в этом не винил, а только смеялся над собой:

– Ну, ежели я такой влюбчивый! От первой жены дочь осталась, но брак быстро распался – мне другая понравилась. С ней долго жил, я ей и детей помог поднять. А вот под старость лет шлея под хвост попала: друг умер, а у него жена – такая козырная женщина! Я на неё давно глядел, а тут – свободная! Три года за ней ухаживал, в любви объяснялся. Поверила. Лет пять прожили, да что-то я сорвался, запил. А она меня и выставила: женщина она самостоятельная, образованная. Зачем я ей нужен, старый козёл-опойка? Я-то потом одумался, да поздно было – забрала её дочь в Подмосковье. Квартиру они продали, а я как был на даче прописан, так и остался один здесь, без родни, только друзья-собутыльники. Дачу она отдала родственникам, они меня больше туда не пустили. Да я и сам не стал ходить. Жил на даче, да кончилась удача! Была бы боль, будет и соль! Не пролез ужом – стал бомжом! Хоть прописка осталась – пенсии малость!

Федюша был старше Верки, ему уже было шестьдесят пять. В отличие от неё, он получал пенсию, был образован и, наверное, никогда бы не поверил, что доживать будет на улице.

С Веркой они встретились прошлым летом за весьма прозаическим делом: рано утром проверяли помойки. Вернее, Верка шарилась в поисках чего-нибудь полезного: жратвы, тряпок, бутылок пустых, когда на неё налетел Витька-урод, скособоченный бомж с соседней улицы, силы физической немереной, да умом слабоватый. Пинком отпихнул её от бака, уронил на асфальт среди пакетов с мусором и осклизших арбузных корок и стал бить своей клюкой, зверея от безнаказанности. Может, и забил бы до полусмерти, да вмешался высокий костистый старик – в его руках тоже была

увесистая палка. Витька забурчал матами, да и отстал от них, не стал связываться с незнакомцем. А старик помог Верке подняться, галантно представился – Фёдор Иванович, вызвался проводить. Была в нём эдакая джентльменская порода: женщина – это, прежде всего, дама, даже ежели она бомжиха. Этим и сразил Верку сразу и наповал.

Куда двум бомжам торопиться – вся жизнь впереди! Федюша был запасливый, насколько это было возможно, старый рюкзак за плечом таил в себе вкусные вещи. Это Верка узнала, когда они, побродив по городу и рассказав друг другу свои жизненные истории, устроились около многоэтажного дома на старой теплотрассе: и сидеть тепло, и крышка люка как столик. Федюша достал из рюкзака газетку, постелил на крышку, достал хлеб початый, парочку свежих огурцов, лучку, небольшой кусок дешёвой колбасы, кусок сальца, помятого, но вполне съедобного. Складешком старым, но острым, аккуратно, обстоятельно всё порезал. Верка уже надеялась, что следом он достанет и чекушку, душа, как говорится, требовала продолжения банкета, но, к её разочарованию, Федюша достал бутылку с чистой водой.

– Прошу, мадам! – сделал он приглашающий жест, и Верка, захлебываясь от голода, от ощущения сбывающейся сказки, набросилась на еду. Федюша прикрыл Веркины плечи курткой и тоже стал, не торопясь, есть, задумчиво глядя на полянку между домов. Утренний ветер шевелил его длинные, до плеч, волосы, уже почти все седые, но волнистые, что придавало ему вид странствующего поэта, в голубых глазах плавала мечтательность. Верка, стыдливо доев всё, прижалась к нему, молча сжавшись в комочек. Про бутылку она не спросила...

Из синей иномарки, стоявшей у подъезда дома, за ними долго наблюдала женщина. Поблескивая золотыми серёжками в ушах, она тыкала вглубь машины пальцем с длинным наманикюренным ногтем и что-то выговаривала своему собеседнику, показывая на бомжей. Видно, тоже требовала от своего спутника к себе внимания и заботы...

Так же аккуратно сложив всё оставшееся назад в рюкзак, пошли Верка и Федюша дальше. И уже не расстались.

Ближе к осени в подвале пятиэтажки они обустроили себе уголок, где даже была маленькая лампочка, кран с водой, ящик в роли стола и топчан с тряпьём и с почти настоящим матрасом, пусть и рваным, но всё-таки... Иногда к ним заглядывали работники ЖКХ, материли их, выгоняли сначала, но потом, видя, что они трезвые, не мусорят, гнать перестали. А иногда даже предупреждали их: мол, начальство должно

тут смотреть, вы бы ушли куда на день. Федюша иногда разговаривал с мужиками, они удивлялись его судьбе, приносили ему старую одежду, что-то перепадало и Верке.

Самое интересное, что чекушку Федя покупал только в день пенсии, за которой ходил на почту, по возможности приведя себя в порядок. Рядом с ним и Верка потихоньку стала отвыкать от водки, хотя вначале дело даже доходило до краж, до скандалов.

У них была мечта подкопить денег с маленькой Федюшкиной пенсии и уехать в соседнюю область, где жила дочь Ивановича, найти её, пристроиться рядом и доживать потихоньку. Верка выправила бы себе паспорт, пошла бы работать, мыть полы или дворником. Полгода не пившая, пусть в обносках, но не грязная, трезвая, она и чувствовала себя уже увереннее, не совсем пропащим человеком. Федюша стал бы писать свои стихи, помогал бы дочери по огороду. Ему казалось, что она бы не выгнала его, простила, поняла...

Но зимой мечта рухнула, отодвинувшись на неопределенный срок. Верка заболела. Боли в низу вздувшегося живота, слабость, а потом и открывшееся кровотечение, заставили её пойти в больницу. Хоть там и пришлось побегать с бумагами – справка об утере паспорта, полис, всё-таки после многих мытарств её осмотрели.

– Рак, скорее всего! – пожилая врачиха, тщательно помыв руки, села писать бумажки. – Оперировать надо. И быстро. Есть на что ехать в город?

Хотела Верка ничего не говорить Федюше, да он сам всё понял. Купил ей билет на маршрутный автобус до города, дал единственную тысячу на обратный путь, и только просил не сорваться, выстоять. Таким она его и запомнила: высоким, худым, костистым стариком, машущим ей в заледеневшее окно...

В городе диагноз подтвердили. Пока Верка лежала в диспансере, была какая-то надежда, что после операции всё будет нормально. Да вот только операцию будут делать плановую, а сейчас «вы можете быть свободны, приезжайте через три недели...»

И Верка вернулась к себе. Вернулась, чтобы ещё раз убедиться как всё было непрочно в её жизни... Заколоченный подвал. И никого... Нет, дней десять Верка держалась, искала своего Федюшу, спрашивала всех знакомых бомжей, спала в подъездах, стараясь не попадаться на глаза никому, ела корки, но не пила. Идти в официальные учреждения она стеснялась. Но Федюши не было нигде. Лишь только когда встретила мужика-сантехника, которого раньше

видела в своём подвале, она узнала всю грубую, жесткую, банальную правду.

Нарвался её Федюша в сумерках на группу подростков, по пьяни тешащих свою силушку, отпинали они его сообща да и бросили в сугробе... Хватило у него сил доползти потом до своего подвала, но не выдержало сердце с почками. Как всегда бывает, никто ничего не видел, никто ничего не слышал. И что с ним дальше было, кто и где хоронил его, мужик тот не знал. И Верка не знала, куда ей сунуться, где ей искать своего Федюшу...

И сорвалась Верка. Ни Федюши, ни денег, ни угла, ни человеческого доброго слова. Всё опять потонуло в пьяном угаре, в побоях собутыльников, в Веркиных слезах о разрушенной несостоявшейся сказке... Как осколок общего с Федюшей прошлого хранила она у себя за пазухой несколько бумажек, полис да выписку из стационара, где ей предписывалось прибыть на плановую операцию. И снова ничего она не ждала от жизни, кроме остатков недопитого пива в буфете да объедков со стола. Здесь же, в буфете, она и упала в угол, потеряв сознание. Буфетчица, много повидавшая, но не растерявшая сердобольность, вызвала скорую. Там нашли Веркины бумажки, на улицу не выгнали, привели в чувство и отправили в город – пусть там с ней разбираются.

Вот и лежит Верка-Вероника на казённой кровати в коридоре онкологического диспансера, сквозь полуприкрытые веки наблюдая, как больные, проходящие больные, ускоряют шаг, торопясь пройти мимо неё, а молодые – так те даже демонстративно нос зажимают. И знает Верка, что жить ей осталось чуть-чуть, считанные дни или даже часы, что нет у неё на всём белом свете никого, кто бы спросил её: «Как дела?», назвал не Веркой, а Вероникой, как звал её Федюша... И текли тихие слёзы по бледному Веркиному лицу...

Чья-то рука легко коснулась её лба. Верка вздрогнула, открыла глаза. Женщина из больных спросила:

– Может, воды вам надо?

– Нет, нет, не хочу! – даже испугалась Верка. – Спасибо!

Закрыла глаза и со щемящей сердце тоской подумала:

– Я просто хочу быстрее умереть...

Телефон

Поезд тяжело вздохнул и тихо тронулся в нескончаемый путь. Пассажиры расталкивали свои сумки, раздевались, рассаживались. Проводница шла по вагону, раздавая постельное, отрывая корешки от билетов.

Ольге Осиповне досталась нижняя боковая полка, других мест уже не было. Она застелила полку, перед этим долго промучившись с полиэтиленовой упаковкой, которая не хотела разрываться, и села, поджав ноги.

Последний раз она ездила лет сорок назад, сейчас ей всё казалось необычным, чужим. Она боялась сделать что-то не так, вдруг смеяться начнут над ней, старухой: вот, мол, бабка в путь собралась, дома не сидится. Да вот и сиделось сорок лет, не нужда, может, и ещё с десяток просидела бы в своём городке. В поезд её посадил сын, объяснил ей, что и как, затолкал небольшую сумку под сиденье и убежал, торопливо, как бы стесняясь, поцеловав в увядшую щеку. В Иркутске её должен встретить внук от младшей дочери и отвезти в областную клинику, да потом отправить назад. Поездки она не боялась: силы ещё были, из ума ещё не выжила. А ситуация в чём-то её и забавляла, она даже гордилась собой – знай наших! Села и поехала, несмотря на свои восемьдесят!

Ольга Осиповна повернулась, посмотрела на проплывающие в сумерках за окном огни, темнеющие строения. Мысли заворочались, побежали, вызывая воспоминания о прожитой жизни. Неожиданно зазвучавшая мелодия заставила вздрогнуть, вывела её из задумчивости. Не сразу поняла, что этот звук относится именно к ней. Ольга Осиповна засуетилась, зашарив по карманам, нащупала тонкую плиточку сотового телефона. Стесняясь обращенных на неё взглядов, она наконец вытащила телефон, поднесла к глазам. «Господи, что тут нажимать? Не напутать бы! Так, вот эту, зелёную. Дочь беспокоится».

– Мама, вы едете? Всё нормально?

– Да нормально, нормально! Спать ложусь!

– Мам, вы сумку с документами под матрац положите, будьте осторожны!

– Да ладно, ладно! Спрячу! Вроде все люди рядом хорошие, не украдут.

– Мама, не будьте такой доверчивой! Вы просто давно не ездили! Мам, вас Мишанька встретит, вы, главное, ждите его на перроне, в случае чего, никуда не отходите, чтоб не разминулись!

– Куда ж я пойду? Ждать буду.

– Как Мишка встретит, пусть перезвонит обязательно, всё ли в порядке!

– Да что со мной случится, доеду.

Весь незамысловатый разговор слушали близ сидящие пассажиры, даже не скрывая интереса. Ишь, старуха, а туда же, с мобильным! Прогресс!

Дочь отключилась. Ольга Осиповна посмотрела на старый потёртый телефон: «И что только люди ни напридумывают! И проводов не надо, как рядом дочка». Спрятала телефон в карман кофты. Тут, заметив улыбки попутчиков, сочла своим долгом всем сразу объяснить: «Дочь переживает, волнуется, как я еду!» Но пассажиры ограничились улыбками и вернулись к своим делам.

Свет в вагоне помигал и потускнел. Старая женщина улеглась, затихла. В душе и теле была усталость, накопленная годами, трудом, сборами, той болячкой, что вызвала эту поездку. Сон и не думал приходить. Перед глазами мелькали картинки прожитой жизни. Она не обижалась на неё. Дети выросли, все встали на ноги, есть внуки и правнуки. Сама проработала немалый срок дояркой, руки артритом покорёжило; Петр, муж, механиком в колхозе был, вон спину сорвал. Не сидели без дел, без хлопот. С мужем вначале всё хорошо было: женились по любви, по согласию, детей желанных родили. Да потом что-то слишком рано пошли проблемы. Трудно сказать из-за чего, но как-то угас огонёк желания общаться по ночам. Хотя и возраст был ещё «самый ничего». Это сейчас – и книги, и журналы, и телевизор. Подскажут, научат, в картинках покажут. Смотри да учись. А им в то время, кто что скажет: тема была стыдливая, запретная. Она и не обсуждалась. Пётр попытался гульнуть, да, видно, любовь действительно была, вернулся, но стал пить всё чаще и больше. Хоть запойным и не был, но его пьянка совсем отбила всё желание. Бить не бил, но нервы мотал то ревностью, то придирками. Расходиться не хотелось: дом, дети, хозяйство. Да и жалко было его той бабьей жалостью, что заставляет русских женщин терпеть и молчать. Муж есть муж, всё мужик в доме. Когда совсем было невтерпёж, плакала. Дети уговаривали уйти, старшая уже самостоятельно жила, младшие дочь и сын учились. Да она не захотела.

А когда муж умер, едва уйдя на пенсию (печень не выдержала), даже говорить плохо про него никому не давала. «Вот Петенька был бы жив, вот мой Петенька, Петенька хороший был». Видно, всё познается в сравнении – одной под старость лет несладко оставаться.

Пока могла, крутилась одна, дети помогали. Они были хорошие, отзывчивые, трудолюбивые, но всё равно длинные долгие вечера принадлежали только ей одной. А потом, когда болячки прижали, старшая Мария забрала её к себе.

Ольга Осиповна в городе сразу почувствовала себя старой и лишней. Городская жизнь (хоть городок и был маленький, не Москва, не Иркутск, но всё равно – районный центр!) ей казалась вихрем, в центре которого крутятся сильные и молодые, а такие, как она, развалины, по сторонам должны отсиживаться, дожидаясь своей участи. Она не обижалась, к кухне и главенству в доме не рвалась, делала по дому, что было ей под силу, любила внуков и правнуков. К молодёжи тоже относилась с понятием, они всегда бывали что в её доме, что в доме детей. Она смотрела на них, сравнивала с собой, той, молодой и такой уже позабытой; ей они все казались такими умными, шустрыми, красивыми. Они помогали узнавать этот чужой городской мир, который последние годы прямо взрывался своими новшествами. Ольге Осиповне иногда даже казалась, что молодые и говорят на каком-то другом языке, особенно внуки и правнуки. Эти вообще, ещё пигалицы, а туда же: то они «колбасятся», то всё у них «фигня», то какую-то «клаву» выкинули. Она когда услышала этот разговор между правнучкой и её подружкой, сначала подумала, что это бабушку подружкину из дома выгнали. Не вытерпела, спросила. Как они хохотали! Ну, компьютер-то она видела, да не лезла к нему, даже близко не подходила. Но поди ж ты, сообрази, что «клава» – это клавиатура! «Выросла я без него, состарилась без него, а уж сейчас и подавно без него обойдусь!» Хотя, когда ей подарили фотографию, где она, в модном платье почти как у царицы, на фоне Эйфелевой башни стоит, долго не верила в возможность этого «компа», всё рассматривала тайком и удивлялась чудесам.

Вот и с сотовым так получилось. Не ехать – вообще бы не взяла. Всей толпой уговаривали. Жила без него, да и куда ей звонить? А тут болячка прицепилась. По возрасту, конечно, время всему цепляться. Но боль в правом боку и очень уж какой-то противный запах, от которого она не могла избавиться даже после ванны, заставили её согласиться походить по врачам. Дочь поводила по кабинетам, где её

помяли, покрутили, брали какие-то анализы, водили по животу холодной скользкой штукой (УЗИ называется! Внутри даже видит!). А потом дочь сказала:

– Мама, в Иркутск собирайтесь, на диагностику, в областную поликлинику!

– Господи, да что я там забыла? Зачем?

– Мама, не переживайте, мы вас отвезём, пусть там посмотрят, не могут здесь правильно диагноз поставить, а там всё-таки врачи поопытнее.

– Да ну. Ещё на меня деньги тратить, ну помру, так помру. Не поеду никуда.

Долго уговаривали и обе дочери, и сын, и внуки. Ольга Осиповна подумала и согласилась. Даже скорее из-за того, что приятны ей были эти хлопоты вокруг неё, суета, чувство нужности. Да и охота ей было посмотреть крупный город, областной центр. Единственное, чему сопротивлялась, чтобы кто-то сопровождал её. У каждого своих дел много, а раз там встретит Мишаня, то и не нужны лишние расходы. В дорогу и дали сотовый, уж чей, она не поняла, кто-то из внуков себе новый купил, а этот, простенький, потёртый, ей вручили. Показали две кнопки, сказали про основные номера: Марии, Любы, Григория, да внука Миши, что встретить должен. Внучка проехалась:

– Бабушка, что ты телефон держишь, как Кобзон свой микрофон! Ты его к уху прикладывай!

Им хорошо над старухой хихикать! Вот сами старые будут, тогда и посмотрим!

Ольга Осиповна повернулась на другой бок, чувствуя, как боль грызёт изнутри. Она смирилась с ней, понимая, что в её годы и смерть – понятие философское. Все помрём, никто не живет вечно, слава Богу, что и так долгих лет ей дал. А если рак, ну и что. Та же смерть. Вон соседка Татьяна ещё в силах была, молодая, едва за сорок пять перевалило, а шла домой, споткнулась, напоролась на старую железяку. И спасти не успели. Заражение крови, как объяснили. А ей бы жить да жить. От рака, от железяки – смерть есть смерть. У каждого – свой срок. Пугало Ольгу Осиповну, что расходы на лечение (вдруг, не дай Бог, рак признают) будут большие и боли будут сильные. И молила она у Бога только лёгкой смерти, если в Иркутске врачи подтвердят диагноз. И хотя ни местные врачи, ни дочь про рак не говорили, Ольга Осиповна слышала, что этот рак был сплошь и рядом. Говорят, экология, стрессы...

Так ночь в думах и пробежала. Вагон просыпался. Пассажиры потянулись к туалету, сворачивали постели, кто и чай успевал налить, кто лапшу китайскую заваривал. Поезд подходил к Иркутску, прогрохотал по мосту, мелькнула река, крыши. Заскрипели тормоза – все потянулись к выходу. Кто торопясь, кто помедленнее.

Ольга Осиповна осторожно спустилась с решётчатой подножки, попрощалась с проводницей, поправила платок на голове. Мишки, сорванца, не было. Проходящие мимо пассажиры толкали её довольно бесцеремонно. «Бабка, не щёлкай клювом!» – пробурчали подростки, обходя её с двух сторон. Ей это, что ли? Ну, отойду. Она отошла от вагона, крутя головой по сторонам, выискивая старческим глазами внука. Зазвонил в кармане сотовый. Так, сначала подправить очки на носу, затем поднести поближе. Мишаня звонит. Ольга Осиповна нажала полустёртую зелёную кнопку, едва попадая пальцем – такое уж все махонькое.

– Бабуля, я задержусь, маршрутка в пробке! Ты стой, никуда только не уходи! Подожди меня, я через минутку подскачу!

И отключился.

– Да куда уж я денусь, – проворчала Ольга Осиповна вникуда, больше сама себе.

Потерявшие гибкость пальцы, держа телефон, нашарили карман в кофте, да промазали – сотовый выскользнул из непослушных рук и, блеснув на солнце панелькой, с подскока упал за край платформы, прямо под колеса проносящейся мимо электрички.

Сердце аж захолонулось:

– Да что же это такое? Разбила! Такую вещь!

Она резко наклонилась к краю платформы, но сильный рывок назад чуть не опрокинул Ольгу Осиповну.

– Ты что, старая, совсем сдурела? Или жить надоело? Из-за сотика под поезд бросаться!

Здоровый молодой мужчина, оттянувший Ольгу Осиповну от мелькавших вагонов, схватил её за плечо, удерживая на месте:

– Совсем с ума сошла! Сейчас достану я его тебе, пройдёт электричка.

– Да разбился он, наверное! Вещь ведь хрупкая! Да как же это так вышло? Ох, растрёпа я!

– Да фиг с ним, бабка! Дети новый купят. Не стоит он всё равно твоей смерти! Вот смотри, целый даже, удачно упал! Да слёзы вытри,

не реви! Сама могла быть под колёсами. А он тьфу – железячка! Лишь вот шаркнулся!

Мужчина вложил телефон в дрожащие руки и торопливо пошёл к ожидавшей его женщине.

Слёзы сами лились неторопливыми горошинками по морщинкам, застилая мир.

А по платформе бежал, махая рукой, смешной и родной Мишаня.

Дедушка

С утра давило виски, сердце стучало тяжело, с напрягом. Господи, не сдохнуть бы раньше времени! Выспаться, полежать бы по-стариковски на привычном диване. Но будильник резким скрипом заставил потянуться и выключить его. Надо вставать, собирать внучку в садик.

Алексей Иванович не обижался на судьбу, он был ей благодарен за это маленькое чудо – Вареньку. Но следом за волной любви накатывала волна боли, дикой тоски, от которой сердце вообще останавливалось и падало куда-то вниз. Почему именно ему досталось пережить такое, чего не пожелаешь и врагу!

Первый брак не назовёшь ни удачным, ни счастливым. Как у всех? Может быть. Как у многих? Похоже. Многие переживают развод – ни это страшно. Единственная дочь осталась с матерью? А какой вариант мог быть в начале девяностых, когда ребёнку пять лет? Обидно, что он так и остался непонятым своей женой. Ну не смог он принести ей в клювике большие деньги, достаток и норковую шубу! Последней каплей и была эта шуба – символ красивой жизни для Марии. Как говорят сейчас молодые: зациклило её на ней. Наверное, перестроечные годы, когда одним – многое, другим – малое, пустые магазины и поставили жизнь довольно успешной учительницы с ног на голову. А Алексей как-то смирился, ходил на свой завод, ждал зарплату. Потом стал работать на частника, считал, что другие живут ещё хуже, а они ещё и ничего. Крутым он себя никогда не ощущал. В стороне от всего жил своей тихой размеренной жизнью. Поэтому к уходу жены отнёсся философски, уговаривать её не стал, скандалить – тоже. Чем и обидел Марию: видно, все женщины любят уговоры.

Она ушла к своему знакомому, который пообещал бросить весь мир к её ногам. Надо отдать ему должное: часть этого мира ей досталась. Но автокатастрофа, случайная или подстроенная, лишила Марию возможности жить и дальше в достатке. Она осталась одна, в большой квартире с роскошной мебелью, с дочерью-подростком и... нищей. Кто-то из друзей нового супруга устроил её в свою фирму, и она была ему за это очень благодарна.

А место рядом с Алексеем было занято. Прожив несколько лет один, он тихо сошёлся с Валентиной, прожил с ней спокойно сколько было отпущено сверху и так же тихо похоронил её три года назад. Душевность этих вместе прожитых лет залечила горечь развода, пенсии ему одному хватало с подработкой сторожем на соседней стройке, и он уже собирался доживать свой век, как все старики. Хотя шестьдесят пять – какой ещё старик!

Но в прошлом году после новогодних праздников приехала дочь: «Здравствуй, папа, это я!» Они встречались за все годы несколько раз: в день похорон Марииного мужа, в день восемнадцатилетия дочери да ещё несколько раз, так как Мария препятствовала встречам. Дочь он признал, выслушал рассказ про внезапную смерть Марии от инсульта, историю про то, как у дочери отобрали за какие-то долги квартиру, поверил во всё это и принял как должное. Дочь его, внучка его – полная семья. Всё не один. Внучка была устроена в садик, дочь целыми днями искала работу поденежнее, надо же внучку растить! Даже странные пропажи малых сумм он списывал на свой склероз, не замечая этой странности. Глаза ему открыли соседи по квартире жены, куда он поехал после суточного отсутствия дочери. Переживая, что случилось с ней, куда она пропала, думая о всяких страшных вещах, которые случаются вечерами в крупном городе, он поехал туда, где жила раньше Мария. Здесь он и узнал, к своему немалому удивлению, что жена умерла уже почти год назад, и что он, по словам дочери, даже отказался быть на похоронах, что дочь его – наркоманка с немалым стажем. Мать тянулась на неё, а затем на внучку, которую она любила, оттягивала момент принятия решительных мер. Как бывает часто, резкий перепад от достатка к безденежью оказался для подростка сильным потрясением – она и сломалась. Дурь казалось для нее панацеей от всех проблем. Вступив в наследство, дочь продала квартиру, очевидно, долги-то были её, а не Марии.

Прождав несколько дней, Алексей Иванович написал заявление об исчезновении дочери, ёжась под равнодушными взглядами

дежурного; окончательно замкнулся в себе и оттаивал лишь от щебета внучки.

От дочери не было никаких известий. Дважды его вызывали на опознание, но ничего общего между синими трупами, найденными в подвалах, и его дочерью, к счастью, не было.

Жизнь вдвоём с внучкой научила его разбираться в таких деликатных вещах, о которых он и понятия не имел. Качество детских колготок и зависимость от этого их цены, варка каши, ночные вскакивания, мытьё ребенка – всё это не давало ни минуты покоя и тишины. В вопросах детско-женской гигиены и здоровья ему помогала соседка по площадке, моложавая женщина, у которой тоже были внуки. Она и снабжала Алексея Ивановича детскими вещами, оставшимися от своей ребятни: то книжек подкинет, то игрушек. Она и оставалась с Варюхой, когда была необходимость. Варя, за этот год почти забыв мать, иногда спрашивала деда: «А тётя Катя тоже моя мама?» А что ей ответишь? Опекунские немного сдерживали кризис семейного бюджета. Но как они ему достались Алексей Иванович не любил вспоминать. Если бы не соседи, не смог бы осилить все чиновничьи препоны, сдох бы где-нибудь на пороге очередной конторы. То нельзя ему брать опекунство, потому что старый, то пенсия маленькая. А отдать в детский дом – это было выше его сил.

Алексей Иванович встал, прошлёпал старыми тапочками на кухню, включил чайник, достал масло из холодильника. В ванной умылся, поскрёб щетину и неожиданно подумал, что за это время, сколько он уже растит Вареньку, он ни разу не болел. Лицо, конечно, выглядит старым, но в глазах появился какой-то целеустремленный блеск, да и общее состояние было помолодевшим. Варенька была теперь ему как дочь и он радовался этому.

Сначала он сам попил чаю, потом пошёл будить внучку. Присел перед кроватью, осторожно взял своими грубыми руками её тоненькие пальчики. Накатила тихая радость, оттого что здесь, рядом, бьётся крошечное сердечко маленького существа, самого родного, самого-самого... Тонюсенькая ниточка, что удерживала его на этом свете, смысл почти всей его жизни, его главное богатство. Одна мысль, одно желание было у него – вырастить, увидеть её взрослой, доброй, её мужа, её детей. Только об этом молил Бога, думал ночами. Не мог слышать, что кто-то бросил своих детей, продал за бутылку, убил, избил, выгнал из дома. Чувствовал, попадись ему такой урод, долго бы бил, насколько хватило б стариковских сил...

Взглянув на часы, Алексей Иванович осторожненько убрал прядь волос со щеки внучки, потеребил нежно ушко:

– Доча, вставай, в садик пора!

Резко открылся озорной глаз, сначала один, потом второй, расцвела улыбка:

– Дедушка, а сегодня мама придёт?

Игра

– Папа, можно я поиграю в твою игру?

– Можно, сынок!

– Папа, а почему фигурки разные?

– А потому что у каждой – своя роль.

– Папа, а почему эта фигурка может ходить только вперёд?

– А она пешка, ей так правилами определено.

– А вот эта большая и красивая фигура может по-всякому ходить, да?

– Да, это королева. Сильная и властная. Зато пешка – единственная фигура, которая может стать королевой!

– А почему другие фигуры не могут?

– Да другим сразу много дано, а пешка всего добивается сама. Это её шанс, её награда.

– Папа, смотри, а здесь вот одна пешка за другую спряталась, ей ходить некуда.

– И так бывает, сынок. Пока ты прячешься за чужую спину, тебе хода вперёд нет, ты слаб.

– Папа, а фигурки сами ходят? Они живые?

– Да, сынок, фигурки живые и ходят сами.

– Папа, а как фигурки выбирают ход?

– А они, как решат сами, так и ходят. Право выбора за ними.

– А фигурка может погибнуть?

– Может. Такие правила. Здесь смерть – плата за игру, за движение вперёд, за победу.

– Папа, а они потом снова появятся?

– Да, в следующей игре.

– А эта игра бесконечна?

– Для кого как. Одни, победившие, переходят на другой уровень, другие, проигравшие – снова играют.

– Папа, а ты играешь в эту игру давно?

– Давно, сынок!

– Тебе не надоело?

– Нет, это моя работа! Да и игра каждый раз получается по-новому!

– Папа, а кто придумал правила игры?

– Я.

– А фигурки знают все правила?

– Нет, только основные.

– А как же они играют?

– В этом и заключается весь смысл игры. У них есть основные положения, основные правила, а уж играть фигурка должна сама!

– Папа, а есть фигурки, которые знают все правила?

– Есть, которые знают многое! А все правила знать невозможно!

– Почему?

– А я их меняю иногда, придумываю другие!

– А фигуркам не говоришь?

– Нет, они должны сами найти вариант выхода к победе.

– Так же нечестно!

– Почему? Победить должен сильнейший, ищущий новые ходы, думающий, а не повторяющий всё слепо за другими! Да и игра должна развиваться!

– Папа, а ты можешь помочь фигуркам? Подсказать?

– Да, я и помогаю. Только не всем.

– А кому?

– Кому нужна моя помощь, кто может меня услышать.

– Папа, а когда я вырасту, я тоже буду играть в эту игру?

– Да, ты встанешь на моё место.

– А ты что будешь делать?

– Я? Буду играть в другие игры! В других местах!

– А я останусь здесь? Один?

– Ну, ты же уже будешь взрослым! Ты будешь сам играть, сам придумывать свои правила! Только береги фигурки! Ты за них несёшь ответственность!

– А почему я за них в ответе?

– Потому что, сынок, эта игра – жизнь. Твоя и этих фигурок. И пока длится игра – жизнь продолжается.

– Значит, если я сломаю игру – всё погибнет?
– Да.
– Папа, а как называются эти фигурки?
– Люди...

Бессонница

Бессонница пришла часа в три ночи. Пришла нагло, решительно, разбила в дребезги хрупкий сон, поиздевавшись головной болью и бурчанием в животе. Капитулировав перед ней, Георгий Михайлович Елисеев встал и тихонько прошлёпал босыми ногами на кухню. Он уже привык к таким ночам, пусть и не частым, но время от времени мучавшим его. Глотнул холодного чая, стоявшего в кружке с вечера, покосился в тёмное окно и, накинув старенькую куртку, вышел в ограду.

До утра ещё было довольно долго. Лето кончалось, уже и картошку придётся копать через недельку-другую. В небе, тёмном и глубоком, горели звёзды, растущая луна слабо освещала кусты смородины, теплицу, постройки. Нашарив сигареты, Георгий прошёл в огородчик, присел на краешек парника и закурил.

Прошло всего лет пять, как он перебрался в городок из деревни сразу после выхода на пенсию. Всю жизнь он проработал в сельском хозяйстве. Сначала комбайнером, механиком, затем, после травмы, сторожил и плотничал. В свободное время всегда вырывался в лес на охоту. Осень была его пора, его время, и ничто не могло его задержать дома в этот сезон – сбегал. Елена Васильевна, супружница (он её всегда так уважительно называл), смирилась и никогда не шла против его желания. Только всегда просила, чтобы мужские дела по дому были все сделаны заранее.

Как охотника Михалыча уважали, знали, что и зверя выследит, и браконьерничать не будет, и в беде не бросит. Знал Михалыч множество охотничьих баек, рассказов, любил и сам рассказать, и послушать другого. Если врал, то аккуратно, чуть-чуть, для красного словца. За рюмашкой в мужской компании мог виртуозно изобразить и свист какой-нибудь птички, и повизгивание молодой лисицы, и весеннее токование глухаря. Слух у Георгия был музыкальный от

рождения. Верхом его звукоподражания был вой. Естественно, волчий. Михалыч закрывал глаза, откидывал голову и затягивал волчью песню. И столько в ней было боли, тоски, одиночества, что мороз леденил кожу, а душа слушателей улетала туда, где была свобода, любовь и бескрайние просторы. Иногда лишь Георгий позволял себе будоражить волчьим воем соседских собак, которые потом до утра не могли успокоиться. В городе он ни разу по-волчьи не выл, видно, боялся, что сам завоет от тоски по деревенской жизни. Если бы не старость, не одиночество в деревне, из которой почти все разъехались, он бы никогда не бросил свой дом. А тут ещё нога перебитая, хромая. Дети и перевезли его поближе к себе. Может, эти воспоминания и не давали уснуть по ночам. Особенно сейчас, осенью.

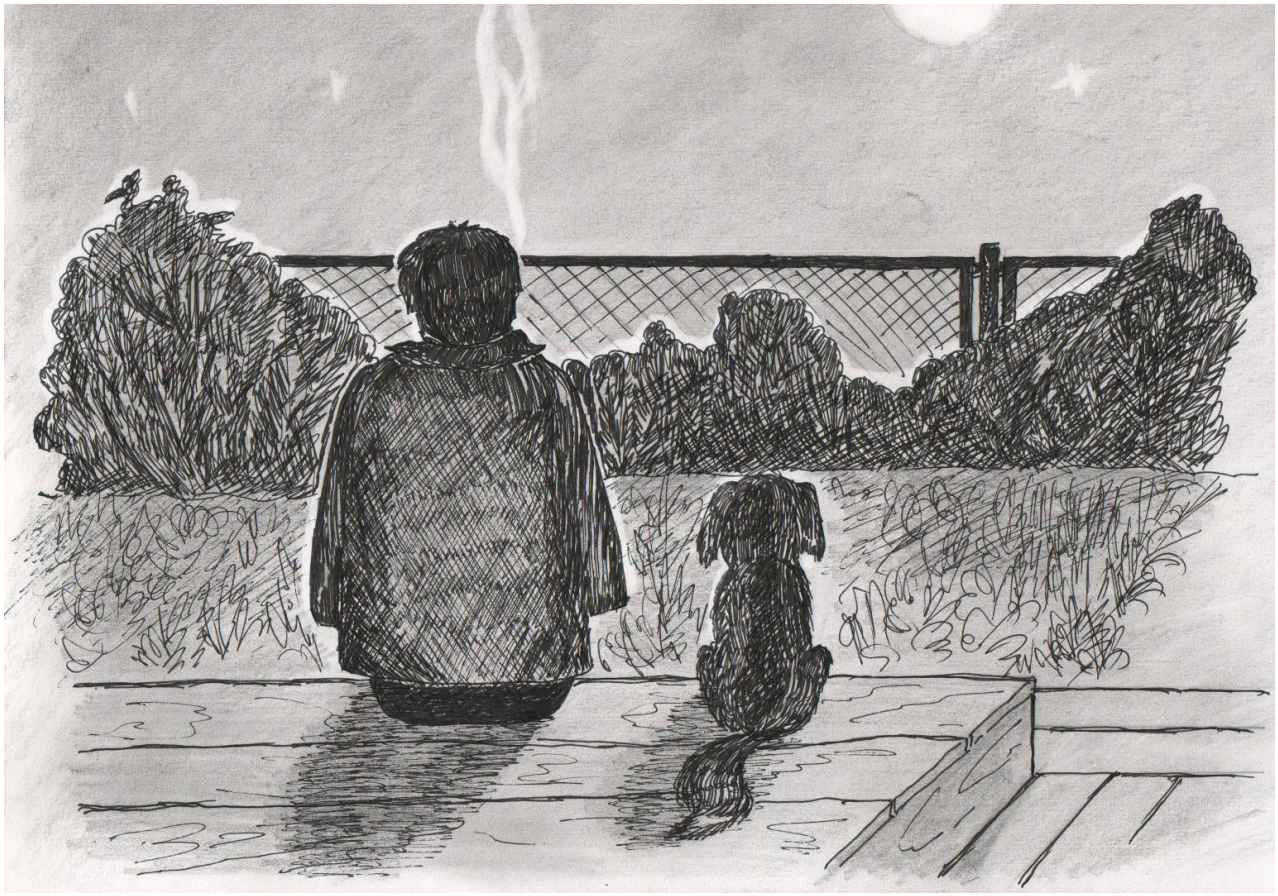
Михалыч докурил, но домой не собирался – слишком ночь была красивая, благоухающая цветами и травами. Городок спал, приткнувшись к железной дороге, по которой редко проносились поезда. Подошла, устало виляя хвостом, старая псинка Сява, дама уже возрастная, мелкая, но сторожевая. Досталась она от старых хозяев и была бесплатным приложением к дому, ценила, что её не выгнали, была осторожна, верна и, главное, не была пустобрешкой. Ткнулась носом в ладошку, лизнула и устроилась около ног в обычной дремоте.

Хорошо было вот так сидеть, слушать тишину ночи и вспоминать прошлое. Впереди ещё, дай Бог, были годы жизни, внуки рядом, дети помогают. Болячек серьёзных нет, тоже слава создателю, жить можно. Живи и радуйся.

Где-то зашебуршала мышь. Сява подняла голову, повела ухом, но не тронулась с места: ловить мышей – дело кошачье.

Вспомнилось Михалычу, как однажды ночевал он на опушке леса, поутру собираясь погонять уток на ближайшем озере. Была такая же царская ночь, костёр горел неторопливо, было тепло и тихо. Верховой ветерок чуть шевелил лапы ели, старой, заросшей мхом, чёрным конусом темнеющей рядом. Искры улетали вверх, к звёздам, и уже вместе с ними в общем танце плясали в вышине. Георгий смотрел на них, и ему казалось, что он, как и эти искры, летит к небу, куполом накрывшему всю землю. Он чувствовал себя центром этой земли, единственным в этом мире. Почему-то тогда, одиноко ночуя около костра, Михалыч почувствовал бренность всяческих житейских забот, желаний. Есть только природа, жизнь, этот или другой какой-то мир. Человек родится, его прожитые годы промелькнут метеоритом, а природа вечна.

Никому никогда не рассказывал Георгий своих мыслей. Может, боялся, что будут смеяться, может, момента для такого откровения не было. А может, слова здесь лишние, просто это душой принять надо.



Так сидел Михалыч среди ночи, мысли свои перебирая и уже подумывая, что пора, наверное, домой заходить.

Сява первая услышала посторонний шум. Встрепенулась, молча посмотрела на хозяина – мол, слышишь, старый пень, идёт кто-то. Лаять? Тот погладил её успокаивающе: подожди, сначала выясним. Вытянул шею, присмотрелся. По ту сторону сетки-рабицы, отделяющей картошку от основного огорода, кто-то пробирался. Все соседи на улице огораживали только свои грядки, а картошка росла сплошь, разделяемая лишь межами. Шорох приближался, и уже стала видна фигура, пробирающаяся вдоль забора. За свежей картошкой кто-то полез? Кричать? Старый да хромой разве справишься, да темнота, что там разберёшь, кто и что. Да вот просто заблудился,

ошибся тропинкой! И взятки гладки! Шугнуть чем-то надо, чтобы неповадно было. И тут...

Надрывный волчий вой разорвал тишину ночи. Звериные тоска и мощь зверя слышались в нём. Вой поднимался к светлеющей на небе луне, к звёздам, подстёгивал испуганных собак, захлёбывающимся лаем присоединившихся к нему.

– А-а-а! Ё! ... мать! – послышался возглас. Тёмная фигура сначала присела в полном непонимании происходящего, а затем, спотыкаясь, ломанулась назад. Треск кустов сопровождал бег, а затем затих.

Михалыч замолчал и рассмеялся:

– Ишь, когда умение-то пригодилось!

Собаки заходились в лае, рвались с цепей. Где-то зажёгся свет, хлопали двери. Загорелся свет и на веранде у Елисеевых:

– Ты что ль чудишь, старый? – Елена Васильевна, белея ночнушкой из-под наспех накинутого халата, вышла на крыльцо. – Делать нечего? Сам не спишь и другим не даёшь! Что случилось-то?

– Да по огородам кто-то шарился, вот и шугнул.

– Ну вот! Это, может, к Тоньке-соседке дружок шёл, а ты им всю «рандеву» сломал!

– А кому сейчас легко! – засмеялся Михалыч, вставая со своего места, свистнул Сяве и пошёл к дому.

– Заходи, не студись! Сейчас успокоятся.

Погасил свет на веранде, зашёл вслед за женой в дом. Постель ещё хранила тепло. Он нырнул под одеяло, свернулся калачиком насколько позволяла сломанная нога и закрыл глаза. Улыбка блуждала по его губам, заставляя даже тихонько похихикивать в подушку.

– А не сбегать ли завтра в лесок или на речку? – уже засыпая, подумал Михалыч.

Нежность

– Т-сс!

Мужская рука, нырнув под одеяло, пощекотала пяточку, скользнула вверх по тёплой ноге. Люба спросонок отдёрнула ногу,

свернулась калачиком и засмеялась, просыпаясь от ласки мужа. Рукой в темноте нашла лохматую голову Алексея, потрепала за ухо:

– Ох, ты и шалунишка! Внуки ведь спят!

– Да они в дальней комнате, а мы тихонечко, по-стариковски!

– Что, и кричать не будем?!

– Ну, уж, лапушка, что поделаешь, в другой раз!

Алексей тихонько засмеялся и, стараясь не шуметь, залез к жене под тёплый бочок, обнимая её, такую домашнюю, уютную, мягкую... Люба пододвинулась на кровати, пуская мужа к себе, ощущая его родной запах, запах чистого тела с лёгким налетом вчерашнего берёзового веничка.

Супруги были в том возрасте, когда с интимными радостями и расставаться ещё не хотелось, но и не всегда такой шанс выпадал. Они ценили эти моменты, ценили общение друг с другом, радость обладания, ласковую нежность. Не сказать, что вся жизнь их была такая гладкая и они в ней были ангелами! Всё было: размолвки, мелкие ссоры, недовольство друг другом. Но они не оставляли крупных душевных ссадин. На первом месте всегда стояло уважение и понимание. Даже когда лет через пятнадцать семейной жизни был у них очень напряжённый период, можно сказать, «кризис», они поняли друг друга и пережили без обвинений и оскорблений. Прощать тоже надо уметь. А сейчас, когда стаж семейной жизни подходил к 35-летию, они понимали друг друга с полуслова.

Алексей уже посапывал после «трудов праведных», обняв жену и прижав её к себе, а Люба, тоже уже засыпая, ещё перебирала в мыслях свои дела на завтрашний день. Слегка улыбаясь, слушала дыхание мужа, а сон уносил её на своих ладошках в сказочные дали...

Луг какой шикарный! Огромная поляна, вся в цветах, ветерок тёплый-тёплый, ни комаров, ни мошки нет! На синем небе облака плывут как барашки! И всё это в движении! Даже цветы постоянно меняли свои очертания, цвет, форму, как в мультике под рукой талантливого художника. И неизвестно, что появится из-под его кисти в следующее мгновение... Вот река появилась, большая, величавая, под солнышком искрится. Вода манит к себе, зовёт войти, поплавать. И в воде дышится легко, глаза не больно открывать, и всё-всё видно: стайку рыб невиданных, песочек на дне,

каждый камушек, травы какие-то водяные рядом колышутся. Можно по воде ладошкой шлёпнуть – и тысяча маленьких солнышек и радужек веером брызнут во все стороны! А ещё вода уносит с собой все проблемы, болячки и невзгоды с души и тела. В теле-то лёгкость какая! И можно взлететь?! Я лечу-у-у! Я птица! У меня есть два мощных, сильных крыла, я ощущаю потоки воздуха, поддерживающие меня над землёй! Ветер посвистывает в перьях мои крыльев, ерошит волосы, он послушен мне, а далеко внизу проплывает земля, вся в первозданной чистоте, без заводов, городов, дорог... Такую её, наверное, создал Господь Бог в начале начал... И я такая же сильная, как этот ветер! Я опускаюсь на берег реки, под ногами песочек, стопа погружается в него, оставляя следы, я чувствую материнское тепло земли, её силу, которая наполняет меня всю, от пяточек до макушки, а невидимый художник уже рисует лес, весь из гигантских деревьев, интересных и необычных. Встречаются берёзки, сосны, рябинки, но в основном листья узорчатые, плоды неземные, веточки фигурные – я таких и не видывала! Корни уходят глубоко в землю, насосами тянут студёную воду из подземных хранилищ вверх, всё выше и выше, в буйную шелестящую крону! Прижавшись щекой к смолистому стволу, я слышу, как вода превращается в сок этого странного дерева, поднимаясь по капиллярам. Сок перетекает в меня, наполняя целебной влагой, делясь со мной силой и непонятными знаниями. А рядом возник костёр, огромное пламя языками вздымается к небу с тигриной грацией и свирепостью. И, хотя огонь не обжигает меня, я чувствую его разрушительную силу. Огонь временно укрощён человеком, но это лишь временно... Маленький лепесточек огня миролюбиво спрятался у меня в ладошках, муркнул крошечным котёнком и затих, согревая мою душу, освещая дорогу...

Будильник разрушил сказку, вырывая Любу из сна. Алексея уже не было рядом, видно, встал раньше, не стал её будить. А она и не слышала, как он вставал. Ночь пролетела в одно мгновение, оставив

от сна ощущение чего-то необычного, сказочного, такого детского и уютного... Хотелось продлить этот сон, увидеть снова луг с его фантастическими цветами, да ещё раз, хотя бы во сне, полетать в прозрачном синем небе!

Люба встала, накинула халат, вышла в зал. На кухне горел свет: Алексей заваривал чай. Она прижалась к его спине, обняв за плечи:

– Доброе утро!

– Доброе! Ты так сладко спала, что я тебя не стал будить!

– Знаешь, такой сон снился! Просто сказочный! Я себя вновь молодой чувствую!

– Ты и так у меня молодая!

– Ну уж, не подлизывайся! Паспорт-то не обманешь!

– Да ты, главное, душой такой же оставайся! А морщинки – переживём!

Алексей, отведя в сторону руки, занятые чайником, потёрся щекой о Любино плечо, улыбнулся:

– Ладно, давай пить чай! Да пора идти по хозяйству управляться.

Начинался ещё один день. День забот, хлопот, домашних дел. Встанут внуки, перевернут всё в доме, чем-нибудь озадачат, чем-нибудь рассмешат, заглянут в душу своими детскими любопытными глазами. Такие разные и такие родные! И, главное, такие необходимые...

Радоница

Радоница – пасхальное поминовение усопших.

«Лежите спокойно и нас скоро к себе дожидайтесь».
(Из молитвы по усопшим)

– Здравствуй, мама! Здравствуй, папа! Вот и я! Сегодня вы рано прибыли!

– Да, Любаша, сегодня мы пораньше, чтоб встретить Миньку! Он первый раз, надо помочь ему.

– Да, я тоже вспоминаю себя, когда сама первый раз здесь появилась. Хорошо, баба Шура встретила, да папа. А потом, через полгода, уже вас, мама, мы вместе встречали...

– А я первое время никак не могла привыкнуть, что нога не болит! Всё-таки полтора года пролежала со сломанной.

– Ну, женщины, завели шарманку про болячки! Тут вот хоть внука сейчас посмотреть! Я-то его вообще только маленького видел. А сейчас ему уже вон сколько! Мужик!

– Сейчас всех увидим! Вон уже идут первые, а ведь рано ещё. День только начинается.

– А все в последние годы стали рано приходить. Позже не проедешь, не пройдёшь. Это раньше был рабочий день, не всех отпускали с работы, да и борьба с религией была в разгаре.

– Ну, давайте ждать своих!

Весеннее солнце уже величаво выплыло из-за горизонта, обозначенного железнодорожной веткой на Абакан. Сам город был закрыт насыпью, только несколько домов на окраине были видны. Вдоль автомобильной дороги уже раскладывали свой яркий товар самые расторопные продавцы, слышался гул разговора, рокот машин.

Всё тонуло в утреннем мареве. Оградки и памятники городского кладбища, покрашенные в основном в голубой цвет, на фоне берёз, ещё не распустившихся, но празднично белевших стволами, выглядели умиротворенно и боголепно. Первые посетители уже пробирались к своим родственникам, лежащим здесь, разматывали верёвочки на калиточках, раскладывали на столиках поминальную снедь, втыкали в землю шуршащие искусственные цветы. Так рано обычно приходили те, кому на работу, или кто не хотел потом толкаться в толпе горожан.

В оградке ухоженных могилок расположились три души. Мужчина, женщина и их дочь. Это их могилки были здесь, это они ждали сегодня, в родительский день, своих родных и близких, ещё живущих на грешной земле. Они могли в этот день встретиться, быть рядом с живыми, посмотреть на них, послушать их разговоры. Только нельзя было вмешиваться, невозможно было обнять, погладить, поцеловать... Лишь смотреть и чувствовать. Сами живые их не видели, лишь иногда кто-нибудь ощущал присутствие души, видел сизую дымку, но таких было мало.

Первым двадцать лет назад умер Пётр. Всего один год на пенсии и прожил – отказала печень. Долго он лежал один в оградке, долго его душа в родительский день появлялась здесь в одиночестве. Потом, скоропостижно скончавшись, так и не успев отметить своё пятидесятилетие, пришла к нему дочь, а через полгода – жена. И вот сейчас они ждали сына второй своей дочери, трагически погибшего, ещё холостого. Он был похоронен зимой и впервые должен был появиться здесь в день радоницы. Его могила, самая крайняя, была завалена ещё не успевшими выцвести венками. Это его ждали души бабушки, дедушки и тёти. Они расположились на скамейке, как им было привычнее в той, уже прервавшейся, жизни. Только были они неосязаемыми, прозрачными, больше напоминали марево, поднимавшееся от асфальта в жаркий день. Взгляд человека, не замечая, проходил сквозь них, лишь боковым зрением иногда можно было уловить сизую дымку.

Будто ветром занесённое пёрышко, рядом опустилось лёгкое облачко Минькиной души.

– Здравствуйте, мои родные! Здравствуйте, бабушка и дедушка! Здравствуй, тётя! Вот и я.

– Здравствуй, внук! Какой ты большой и взрослый! Тебе же года три было, когда я умер. Ты ещё над моим беззубым ртом смеялся! Всё помню! Ну вот, встретились!

Душа деда приняла вид мужчины, немного пузатенького, невысокого роста. Таким он был до предсмертной болезни, таким он и предстал перед остальными. Впрочем, и другие тоже проявились в своём виде. Так было удобнее для общения. Души соединились, обнявшись, немного постояли вместе. Ветерок слегка шевелил дымку эфира, силуэты чуть-чуть светились прозрачным перламутром с налётом нежной радужности.

– Ты-то как, внук, сюда попал? – дед старался объять Миньку всего, поделиться с ним чувством любви, заботы и внимания. – Рано тебе было, ты бы мог ещё жить.

– Знаешь, деда, получилось очень быстро. Это здесь я понял, что всё предопределено: подошёл срок – и никуда не денешься! Хотя в моём случае выбор был за мной, был вариант.

Мы с другом поехали отвозить клиента в соседний посёлок, таксовали мы с ним иногда, в одиночку опасно. Шли по трассе, скорость, конечно, приличная, встречных нет, три часа ночи, нам никто не мешал. А тут лесовоз впереди тащится, снег взмётывает, выхлопы, да и скорость у него маленькая. Мы пошли на обгон и зацепили бровку. Ну, ты понял, сам шофёром был! Нас отбило под самый лесовоз. Васька сразу на месте погиб, клиент ещё жил дня два, а меня перемололо всерьёз, но я остался жив.

Ты прав – у меня был выбор. Бабушка, я видел ангела! Впервые! Я никогда не верил в той жизни, что они есть! А здесь такие краски увидел! Такой свет залил всё вокруг! Я боли не чувствовал никакой! Парил, летел где-то! Так было легко, такое чувство огромного счастья меня несло вверх! Я казался себе всей вселенной сразу! И тут из ослепительного света появился ангел. Какие у него крылья огромные! Он подхватил меня, и мне стало так спокойно, как в детстве у мамы на руках. И я стал видеть картинки из своей такой короткой жизни, вплоть до аварии, да и саму аварию. Как меня в «Скорую» грузили, разбитого, безвольного, как тряпичную куклу. Лица почти не было, все свёрнуто! Множество переломов, селезёнка лопнула, голова пробита... А я ведь здоровым рос. Ничем не болел. Так обидно стало. А дальше показали мою жизнь после аварии. Да, я остаюсь живой, но полгода в коме, лицо изуродовано. И, главное, я частично буду недееспособным... И так на долгие годы. Пока будут живы родители, они за мной будут ухаживать,

я буду в их душах постоянной болью, укором, что не смогли уберечь. Но они долго не протянут, умрут в один год. А брат сдаст меня в интернат.

Такая вот жизнь, одна боль. И я решил не возвращаться... Я сделал выбор. Здесь мне хорошо, здесь я здоров, здесь жизнь такая, как я хочу. Родители, конечно, плачут до сих пор, скрывая друг от друга слёзы, я же вижу их, им тяжело. Но лучше раз перестрадать, чем видеть каждый день меня и мою боль. Я подожду их здесь, встречу. Пусть поживут там, внуков понянчат. Жизнь продолжается. Вон, смотрите, они идут сюда! И брат здесь. Ой, у него сын родился! Какой бутуз! Жаль, не могу потрогать.

– Правнук! Надо же! Целы наши корешки, Петро. Люба, смотри, и твои подходят. Ну вот, день начался! Потом и остальные придут. Всех увидим, порадуемся.

Пришедших на кладбище было много: здесь были и родители Миньки, Наташа и Сергей, их второй сын с семьёй. Дочери Любы тоже пришли со своими детьми и зятем. Остальные, кто сможет, будут попозже. Пока молодые раскладывали поминальное угощенье на столике, Наташа с Сергеем подошли к могилам матери и отца, положили на край бетонного надгробия цветы.

– Здравствуйте, мама и папка! Вот и Минька с вами. Потеряли мы его нынче... Так нелепо! Я ему ещё вечером звонила, спрашивала, что делает. Он спать собирался. А в три часа позвонили – разбился. И всё... Мама! Как это больно! Как я тебя понимаю, когда хоронили Любу. Уже четвёртый месяц идёт, а я плачу, плачу, хотя и суечусь в делах, работаю, девчонки помогают. С Сергеем поддерживаем друг друга. Иначе, мама, я бы сошла с ума. Как мы это только пережили, зачем мы сейчас живём...

Она перешла к могиле сына, опустилась на пихтовые ветки и разрыдалась взахлёб, безудержно, лишь стараясь не сорваться на вой и крик.

– Сын! Ты же где-то здесь? Твоя душа. Как я хочу тебя увидеть, обнять, попросить прощения за то, что жизнь твоя оказалась такой короткой.

– Мама! Мама! Я здесь, я вижу тебя! Как вы постарели с папой. Извини меня, мама, что я ушёл. Так лучше. Научитесь жить с этой болью, запрячете её в глубину памяти. Многие родители хоронят своих детей, у каждого свой срок. Мне было бы труднее видеть ваши муки каждый день. Не вините себя, мои хорошие! Я всегда гордился

вами, может, редко говорил об этом, а сейчас вот жалею, что не могу сказать, обнять, прижаться к вам. Только вижу вас, чувствую вашу боль. Я ещё и сам не привык к новой своей жизни. Душа-то живая, всё помнит, видит. Сейчас многое видится по-другому. Правда, вот только сказать ничего не могу. Здесь много наших, мне с ними тоже хорошо! Лес мне нравится, вы хорошее место выбрали. Дорога, которую я так любил, рядом. Не плачь, мама, отца береги. Я вас очень любил и люблю! Мама, я сейчас тебе привет передам, почувствуй!

Сергей стоял рядом с женой, тихонько гладил её волосы, сам украдкой вытирал слёзы. Боль была ещё свежей, душа кровила от тяжкой утраты. Смерть сына выбила его из жизненной колеи, жить не хотелось. Дышать и есть первое время, казалось, было противоестественно. С трудом приходили они в себя после похорон.

Наташа вытирала слёзы, комкая платок, опухшее лицо было беспомощным от пережитой трагедии. Умом она понимала, что у каждого свой срок, и её сын не единственный, кто рано ушёл из жизни, такая участь коснулась многих её знакомых и других жителей городка. Но боль от этого не становилась меньше, и душа не переставала рваться.

– Господи, сын, пусть тебе там будет лучше! Мы понимали, да и врачи сказали, что если бы ты выжил, то на свои мучения. Но мы согласны были нести этот крест по жизни, пока могли. Лишь бы ты остался жив. Врачи давали тебе шанс выкарабкаться, ты крепкий, ты бы смог... Ты шёл на поправку, но не выходил из комы, восемнадцать дней лежал в реанимации. Каждому дню я радовалась – жив! Я чувствую, ты сам остановил своё сердце, знал, что тебя ожидало в будущем. Ты всегда был с характером, сам принимал решения. А я до сих пор ощущаю тепло твоих рук, до сих пор вижу твою улыбку, жесты, рукой ощущаю твои волосы...

Наплакавшись, Наташа потихоньку затихла, сжалась, уткнувшись лицом в платок. Нет, душа её до сих пор была в тисках боли, она не чувствовала своё сердце – ей казалось, оно заледенело, застыло камнем в груди, было готово просто взорваться мелкими осколками, и тогда она тоже сможет уйти туда, к сыну. Она хотела этого. Она не боялась смерти, в силу своего возраста понимая, что та настигнет каждого: никто вечно не живёт. Здесь, в этой жизни, её удерживали лишь дети, внуки, муж. А надо жить дальше, чужую жизнь не проживёшь, свою тоже никому не подаришь.

Сергей стал поднимать её с холмика:

– Вставай, а то простынешь ещё. Земля мёрзлая, неоттаявшая, садись на скамеечку. Давай помянем нашего сына и всех остальных.

Родственники уже приготовили столик, распушили цветы на могилках, сами поплакали. Наташа даже не заметила, сколько прошло времени, пока она сидела около сына. Она оглянулась вокруг, поискала глазами по сторонам, как бы вглядываясь пристально во что-то, в некое марево, в некое искажение света и цвета рядом с собой. Ей хотелось увидеть хотя бы смутный силуэт сына, лицо, почувствовать его рядом... Что-то она ощущала, что-то витало в воздухе и лёгким незаметным крылышком касалось её щеки, нежным дуновением проходило рядом. И вдруг мощный пряный запах накрыл её с головой. Это был запах каких-то неземных цветов, не местных, сибирских, а, может быть, где-то на юге так могла пахнуть магнолия или другая какая-нибудь цветущая растительность. Может, так пахнет редкая комнатная мурайя, завезённая в Россию из Китая. В любом случае здесь, на кладбище, такого запаха быть не могло. У Наташи закружилась голова, она вдыхала этот запах и не могла надышаться. Она хотела его весь вобрать в себя, запомнить его, чувствовать всегда. Слёзы снова полились из глаз.

– Вы чувствуете запах? Просто божественный запах! Какой сильный! Это сын, Миша, мне и вам всем передаёт привет! Он здесь, рядом, я его чувствую! Он видит нас! Да не смотрите на меня так, всё в порядке! Я не сошла с ума! Просто я чувствую сильный запах, неземной просто! Это его привет! Принюхайтесь! Он вот здесь, таким облаком! Не верите? Вот же он!

Родственники с испугом посмотрели на неё. Они ничего не чувствовали: просто запах талой воды, весны. Маленькая дочка племянницы подбежала к Наташе, смешно потянула курносым носиком воздух и взвизгнула:

– Нюхаю, нюхаю! Правда, вкусно пахнет! Мама, ты так же пахнешь, когда в гости собираешься!

– Ну, вот видите, дети-то чувствуют!

Все рассмеялись, вздохнули с облегчением, скинув напряжение.

– Ну ладно, давайте помянем родных!

Сергей на правах старшего мужчины разлил вино:

– Земля им пухом, пусть остаются с миром!

Плеснул на могилки, выпил быстро, закусил блином и отвернулся скорее, пряча слёзы.

– Видишь, внук, услышала тебя мать, почувствовала твой привет. Видно, очень сильно тебя любит! – душа бабушки подмигнула Миньке и обратилась к дочери.

– А твои-то, Любаша, тоже как вымахали! Ты-то внучек и не дождалась. Смотри, какие шустрые! Старшая уже нынче в школу пойдет. А младшая – ну копия ты в детстве. Помнишь, фотокарточка была, где тебе года три? Ты там ещё стоишь, пузико выпятила, глаза скосила в сторону. Один в один с внучкой! А у твоей старшей дочери сын уже вообще жених! Школу заканчивает. Кажется, что недавно мы с тобой с ним нянчились. А тут уже и второй бегает. В прошлом году еще говорил плохо, а нынче-то, нынче, смотри, как трещит без умолку! Говорун какой! Пусть растут, женятся, замуж выходят. Им надо прожить ту жизнь, к нам ещё рано. Успеют.

Поминающие убрали со столика, постояли около могилок, прощаясь со своими родными. Сергею с Наташей надо было ехать в деревню, на другое кладбище, к его родителям. Там тоже ждали своих.

– Ну, ладно! Оставайтесь с Богом! Земля вам пухом!

Попрощались, ещё раз оглядев могилки, закрыли калитку на защёлку и пошли потихоньку. Ребятишки, не совсем понимая, что к чему, весело прыгали, переговаривались звонкими голосами. Их жизнь была впереди.

Души смотрели им вслед и видели большее:

– Ну, ладно полетим и мы. Тоже надо проведать остальных. Сейчас только через несколько лет к нам подселят. Но им об этом знать не дано...

Я не люблю вспоминать войну…

В слесарно-механическом цехе шло торжественное собрание, посвященное Дню Победы. Сначала сам начальник цеха поздравил коллектив с праздником, парторг выступил с коротенькой речью, затем, как полагалось, выступил ветеран войны.

Крепкий ещё мужчина из технического отдела, или, как говорили, из конторы, вышел на середину пятачка перед рабочими. На его сереньком пиджаке поблёскивали медали, значки. Возбуждённо

размахивая руками, он стал рассказывать, как попал под артобстрел, когда его везли на фронт, как проходил его первый бой, как его ранили, слава Богу, не слишком тяжело, но госпиталя ему избежать не удалось. Рабочие сидели кто на ящиках с заготовками, кто за столом, где в обед стучали в домино, некоторые стояли около своего станка, облокотившись для удобства. Передние слушали молча, внимательно, а кто был подальше от выступающих, уже и покуривали потихоньку, переговаривались шёпотом: ежегодные собрания мало чем отличались друг от друга, да и этого выступающего они слушали года два назад с этой же историей.

Технолог Лида, симпатичная девчонка, приехавшая на завод по распределению после окончания института, слушала внимательно. Ей, активистке и комсомолке, всё было интересно, всё в новинку. Она гордилась тем, что она – молодой специалист с высшим образованием, имеет важную должность. Поглядывая на рабочих, она заметила шушуканье слесарей-сборщиков во главе с Володькой Арсентьевым. Володька был старше её лет на пять, был красив и поглядывал, что уж там скрывать, на Лиду, когда она пробегала по цеховым делам мимо. Но сейчас тема собрания была серьёзная, совсем не время и не место для ухмылок. И Лиде стало обидно за выступающего: в конце концов, он действительно проливал кровь за нынешнее мирное небо. Для неё это были не красивые слова, для неё эта была жизненная правда: она хоть и родилась в пятидесятом, после войны, но её отец, получивший многочисленные раны на фронте, умер рано. Она его не помнила совсем, не могла гордиться отцовскими руками, подкидывающими её в небо, помогающими что-то ей мастерить, а мать мало что рассказывала, вернее, вообще не рассказывала про отца, видимо, были на то причины. А жить без отца Лиде приходилось трудно. Тоскливо, с тихой завистью глядела она на отцов подружек, пусть раненых, увечных, но всё-таки живых...

Собрание закончилось, все дружно похлопали выступающим, радуясь и окончанию мероприятия, и предстоящим праздничным выходным. Цех быстро опустел, погасил свои огни и приготовился к дрёме на все заслуженные выходные.

«Ладно, я ещё Арсентьеву выскажу после выходных!» – подумала Лида, идя домой.

В понедельник она подошла к Арсентьеву и, глядя непримиримо в ярко-синие Вовкины глаза, выпалила:

– Я считаю, что ты вёл себя на собрании безответственно! Как можно так неуважительно относиться к ветерану?

– А за что я его должен уважать? – Вовка и не стушевался перед натиском девушки. Он даже с любопытством уставился на неё: как она отреагирует на его слова?

– Как это – за что? Да за то, что ты сейчас мирно живёшь! – Лида от возмущения даже стала немного заикаться.

– Да я и не спорю, что он был на войне! – Арсентьев пожал мощными плечами. Он откровенно любовался Лидой, но уступать в словесном споре явно не собирался. – Многие воевали, но почему он каждый год одно и тоже рассказывает? Ты этого не знаешь? А мы знаем! Его забрали в армию в конце сорок четвертого, пока обучили, пока довезли до границы, до фронта – война уже заканчивалась. По дороге эшелон под обстрел попал – видишь, факт какой красивый! А в первом же бою его ранило. Ты его спроси, куда! В задницу! Осколок шальной залетел. Но ранение есть ранение. Вот и кончилась его война. За тот бой многих награждали – и ему медаль дали. А послушать его, так будто он один войну выиграл!

Лида растерялась. Впервые она столкнулась с такими откровениями, далёкими от красивых книжных фраз. Впервые ей рассказали про другую сторону жизни, и этого рассказа не было в учебниках истории...

– Но ведь у него же есть награды... – растерянно пролепетала она, не желая мириться с поражением.

– Да это у него всякие юбилейные медальки и значки! Многим воевавшим дают к разным датам. Просто он всегда и везде лезет выступать. А как же – ветеран! Красиво говорить умеет! Словоблуд просто!

– Но всё равно так нельзя! – Лида почти сдалась. – Война – это же святое!

– Согласен – святое! Ты вон подойди к нашему участку, Виктора Ивановича Быстригина знаешь? Ты его про войну спроси. У него медалей и орденов полведра! А он скромно всегда сидит в стороне, не хвастается!

Лида знала Быстригина. Виктор Иванович был, конечно, мужчина в возрасте. Невысокого роста, но крепенький, немножко огрузневший, но подвижный, с кустистыми бровями. Он не лез к Лиде с расспросами, как многие другие, не шутил, был всегда в своих думах, делах. Если что-то говорил по работе, то немногословно и кратко. Долго Лида не

знала, как заговорить. Не подойдёшь же к человеку, не брякнешь в лоб – расскажи! Но и не могла бросить эту затею, ей хотелось выяснить до конца, кто всё-таки прав: она или Арсентьев. А может, он просто сочинил всё? Хотя, навряд ли...

Лида смогла завести разговор через неделю. Сначала заговорила про оснастку, а затем спросила про шрам на руке:

– А это что у вас за шрам?

– Да так, мелочи, – отмахнулся старый слесарь.

– Это у вас с войны? – Лида решила говорить напрямую. – Вы же воевали? А почему вы не выступали на собрании, не рассказывали про войну? – спросила Лида

– А что про неё рассказывать? Что в ней хорошего? – дёрнулся Иванович, нахмурился и стал тщательней вытирать руки. – Лучше вам про неё ничего не знать и никогда с ней не сталкиваться! – уже даже с раздражением ответил мужчина.

– Вы не обижайтесь, пожалуйста! Просто я узнала, что вы воевали, а никогда не рассказывали, как и где.

– Воевал. Все воевали, и я тоже. – Задумался Виктор Иванович, вспоминая что-то своё. Полез за папиросами в карман, закурил, даже не извиняясь за дым, глаза его погрустнели. – Страшная эта вещь, война! Дай Бог тебе её не испытать, дочка! Тебя вот она коснулась даже и после Победы...

– Да я понимаю, что страшная. Читала, фильмы видела, – Лида даже не обратила внимание на дым, она ждала. Чувствовала, что бывший солдат сейчас может разговориться.

– Да в книгах и кино не показывают, что мы там, в окопах, пережили... В кино всё красиво, а по-другому и нельзя снимать.

– А вы кем воевали?

– Кем воевал? – усмехнулся вопросу Быстригин. – Всем. Куда пошлют. Мы же не выбирали. Приказ – и пошёл, побежал.

– Дядя Витя, – перешла почти на просящий тон Лида, – расскажите! Я про отца ничего не знала, так хоть вас послушать.

– Тяжело это! Разбередила ты мою душу!

Быстригин задумался, машинально теребя ветошь в руках и вытаскивая из неё какие-то ниточки. Он действительно не любил вспоминать войну, очень редко что-нибудь вырывалось у него про те годы. В своей бригаде он единственный раз выплеснул наболевшее, да и то потом взял слово с мужиков помалкивать. Видно, всё-таки кто-то проговорился, если эта девчушка подошла к нему с таким

разговором. Он вспомнил, как сыновья-погодки, не видевшие его все военные годы, в первый момент встречи чурались, прятались за мать, и только потом освоились, повисли на нём, прижавшись худенькими малосочными тельцами к жёсткой гимнастёрке. Ему показалось, что и сейчас он ощутил биение их сердечек, как тогда...

Они не замечали, что рабочее время заканчивалось, и все, косясь на них, проходили в раздевалку, но, видя их серьёзные лица, не окликали, не шутили.

– На войну был призван из деревни, сибиряк я. Образование – четыре класса, в семье детей полон двор, пришлось рано идти на заработки. При конях я был пацаном, вот на войну прямо так с конюшни с лошадьми и забрали. Пушки таскали да груз возили на передовую. Потом стрелком. Крестьянская жилка крепкая – выдюжил даже рядовым пехотинцем. Пехоте вообще страшно доставалось. Знаешь, как нас звали? Мясо. Грубо, цинично, но, когда пройдёшь мясорубку боя, понимаешь: точнее не скажешь. Когда из окопа стреляешь или в толпе таких же пацанов бежишь в атаку, орёшь матом, ошалевший и от страха, и от злости, ещё как-то врага не видишь. А вот в рукопашной... Веришь, до сих пор ночью слышу хруст челюсти немца, первого, мною убитого... А он ещё так на моего дядьку был похож... Думаешь, ему эта война была нужна? Думаешь, что он или я хотели быть убитыми? А тут – кто кого... Мы-то хоть своё защищали... А про жизнь в окопах много и говорить не буду. Зимой, было дело, живьём замерзали, и сутками голодом сидели, прижатые огнём к землице, да и неразберихи в войсках тоже было достаточно...

Быстригин достал вторую папиросу, нервно прикурил, разогнал рукой дым, синевато ползущий вверх, немного помолчал. Затем заговорил снова:

– Уже в конце сорок второго меня в разведку забрали. Я же охотником с малолетства был, в деревне все стрелки и рыбаки, иначе не проживёшь. Пригодилось. За меня, видно, мать молилась крепко, сильно не задевало меня, не увечило, так лишь, по мелочи. Хотя молились-то за всех, да не всем везло. А уж смерти насмотрелся во всяких вариантах... Как только сердце не разорвалось от всего пережитого... Не буду уж тебе подробности описывать. Война – это вообще самое грязное и страшное дело. Я уже был бывалым воякой, а когда увидел мёртвого ребёнка, девочку лет десяти от силы, танком раздавленную, меня так хлопнуло, что сорвался я, заорал, не помню уже что, рванулся куда-то, руками, зубами готов был рвать фашистов.

Ребята поймать успели, связали меня, сначала просто рот заткнули, потом из фляжки плеснули, удержали. Мы как раз в рейде были, за языком шли. Мог всю операцию сорвать. Хорошо хоть немцы далековато были, не услышали. Видишь вот, столько лет прошло, а слёзы сами побежали... Извини, больно до сих пор...

Виктор Иванович вытер набрякшие глаза, затушил окурок. Запустил руку в свои волосы, потеребил чуб, седой и поредевший.

– Я не дошёл до Берлина. Увидел только краешек Германии, а всё хотел посмотреть, где такие нелюди родились. Мамок их увидеть, глаза их. Наверное, их глаза не такие, как у наших матерей. Да не довелось. Возвращались из разведки, пятеро нас было, «языка» тащили. Да напоролись на немцев. Откуда этот разъезд их вырвался? Уже чуть-чуть до своих оставалось... Меня первого ранило, почти под сердце пуля попала. Семён меня на себе поволок, мы с ним больше года вместе отслужили, ближе брата был. Была ещё надежда, что прорвёмся. Я-то без сознания был, мне потом ребята рассказали. Семён, уже падая убитым, меня собой прикрыл. Изрешетили его всего, да и меня ещё пару раз зацепило. Остальные тоже там остались лежать... вместе с немцем...Через сутки, после атаки, погребальная команда собирала трупы. Меня поволокли, а я очухался, застонал. Видно, жить хотел. А потом лазареты. Долго валялся, но выкарабкался. Комиссовали. А там и Берлин наши взяли. Уже вон тридцать лет прошло, как война закончилась, а, знаешь, до сих пор она снится, до сих пор Семёну затяжку оставляю... И плачу...

Тихие слова не нарушали тишину цеха. Молчаливо, тёмными обелисками стояли станки, будто притихшие от услышанного. Притихла и Лида, боясь спугнуть воспоминание лишним движением или звуком. Иванович потеребил ворот рубашки, взглянул на девушку:

– Пошли домой, дочка! Поздно уже. Меня дома потеряли, наверное. Да и тебе пора, кавалеры ждут!

– Дядь Вить, а наград у вас много?

– Да есть, лежат у жены где-то на сохранении!

– Какие?

– Всякие. Лежат да лежат. Что награды – металл. Плата за жизни солдат. Вот если бы убитых можно было вернуть... Всё, хватит. Пошли домой. И так сердце уже хватает.

– Виктор Иванович! А почему вы не рассказываете про войну?

Быстригин опять замкнулся в себе, отвернулся и молча пошёл через цех. Лида, стараясь не отставать, заторопилась за ним. Уже

перед тем, как зайти в раздевалку, Быстригин оглянулся, посмотрел на Лиду:

– Тяжело. Больно. Сердцу, душе больно. Я вот с тобой поговорил, редко кому так рассказываю, и будто заново пережил тот ад. Заново похоронил друзей, заново увидел Семёна. И ту девочку... Вот поэтому, дочка, я и не люблю вспоминать войну...

Мужские посиделки

Хорошее событие, конечно же, надо отметить! А тут сам Бог велел – день рождения Васильича. Пусть не юбилейная дата, но надо уважить человека!

Мужиков было пятеро. Все они работали вместе, в одних мастерских, лишь Сёмка Малой, молодой детина под два метра, работал электриком, но был своим, так как всегда крутился рядом. Остальные занимались ремонтом техники: кто слесарил-токарил, кто сварщиком работал, кто по совместительству столярничал в боковой комнатке.

Подготовились они обстоятельно. Нет, не в части объёма хрустальной слезы! Обстоятельно отнеслись к закуске: отварили свежей картошечки, зелень была всевозможная, сальцо и копчененькое, и солёненькое! Хариузок свежего посола серебристо блестел на тарелочке, огурчики с помидорчиками! Это вам не один сырок с хлебом! В магазин за колбасой не побежали: в селе, хоть и не совсем маленьком, за ней не сильно гонялись – пусть городские её жуют, из бумаги деланную! А мы уж по-крестьянски, своё и свеженькое! Как и самогон! Васильич гнал его умопомрачительно! На кедровых орешках настаивал! Цвет получался красивый, густо-чайный, и пилась чарка для души, не для дури!

Расположились за столом для курения, который в летнее время был на улице, за углом мастерских. Сейчас как раз там солнышко пригревало, ветерок с недалёкой протоки мух отгонял, да и вид открывался глазу приятный: к речке спуск желтел песком изрытым, берёзы закрывали вид на дома и постройки. А на той стороне – совсем пасторальная картинка: лес, поля, солнышко, спускающееся за горизонт.

Ну, начали, как всегда: здоровья пожелали, успеха, удачи, детей-внуков, быстрых ног, зорких глаз. Про рыбалку не забыли. Пожелали ещё такого, что не для женских ушей, но приятственно! Похвалили рыбку, Васильичем пойманную, порасспросили где и как. Выслушали подробности. Пообсуждали машины: преимущества одних и неполадки в других. Проехались по работе, поругали руководство, поматерили политику и кризис. Выпили ещё, чтоб смыть горечь тем. Охмелели. Разомлели. И пришло время говорить про женщин. Не верьте, что мужики не любят болтать и разговаривают меньше баб! Под пузырёк такое наговорят, все темы перетрут, почище кумушек на базаре! И эмоционально от них не отстанут! Всё зависит от собеседников и объёма выпитого!

Зацепились в первую очередь за слова Лёшки. Вот мужик уже в возрасте, не пацан, а как-то не пристроен в жизни: второй раз женат, про детей от первого брака и не вспоминает. Алименты высчитывают, и всё. Этим его родительские обязанности и исчерпываются. Со второй женой живёт как-то недружно, без уважения, какие-то разборки вечные, обиды, упрёки. И зовут его Лёшка, без отчества так, снисходительно.

Видно, раздражение у него на всех баб было, что высказался про свою жену грубо. А Иваныч, мужчина далеко за пятьдесят, его поправил:

– Ты же живёшь с ней, спишь с ней, что ты так уж, матом. Если её не уважаешь – разведись. Только слабак на бабе зло срывает.

Лёшка было дернулся – не понравилось ему высказанное. Да Петро его осадил, ещё по одной налил, выпили. Раздражение прошло, мужики вообще-то общались давно и всегда мирно. Тут разговор и перешёл на жён: тема касалась всех, все были женаты, стаж семейной жизни, правда, был у каждого свой. И жён знали у всех, да и вся жизнь здесь, в селе, была на виду.

Сёмка вон по молодости не нагулялся – так ходил на сторону, пока детей три года не было. А как дочка родилась – всё, весь в семье, и, кроме жены, никого не надо.

Васильич – тот всю жизнь прожил тихо, мирно, как женился на своей Марии, так и ровно-гладко живут. Без выкрутасов, без фортелей, детей вырастили, внукам теперь пироги пекут. Обоих такая тихая жизнь устраивает.

Петро, наоборот, и попил в молодости, и погулял. Правда, из дома не бегал, дом для него был дом, да и детей любил. Меру знал, не

заигрывался. Видно, душа его требовала полёта, как он сам про себя говорил. Но к пятидесяти годам как-то враз присмирел, завёл плотное пузико, даже пьянки прекратились. Только, когда кто-нибудь из молодух проходил мимо, поведёт своими бесшабашными глазами вслед, взглядом погладит, вздохнёт, да и займётся своими делами. Честно говоря, были бабы, страдали по его крепким рукам, что ж поделаешь – видный мужик!

И стали они вспоминать и рассуждать: как познакомились, где встречались, как ругались и мирились, кто кого ревновал, кто кого обижал, кто кого прощал. И тут обратили внимание, что Павел Иванович как-то выпал из общего разговора: сидел в сторонке и отмалчивался.

Сам-то Иванович был человеком своеобразным. С одной стороны – спокойный, душой лёгкий, в своих мыслях зачастую блуждающий; ни в пьянках, ни в хождении на сторону замечен не был. С другой – мог так подколоть острым словечком, разыграть беззлобной, а иногда и ехидной, шуткой – ну, хоть стой, хоть падай! А жена, Нинка, у него была обыкновенная: и внешность неброская, и крепкой не была, росточка среднего, да характера решительного. Могла и руку приложить, хотя ругаться не умела. Чтоб материлась – никто не слышал.

Мужики подозревали, что Иваныч у неё «под каблуком» находится, сильно не задевали его словами на эту тему. И только в ответ на его подковырку иногда огрызались: «Ты бы свою Нинку подкусывал!» А тут сидит мужик и не жалуется на судьбу свою.

Удивились сильно, пристали с расспросами. Пётр даже каверзный вопрос задал: «А что, Иваныч, ты жене, действительно, ни разу не изменял?»

Конечно, по трезвянке такой вопрос и язык не повернулся бы задать, а тут на фоне общей интересной темы как-то естественно всё и вышло.

Не сразу ответил Иваныч. Запустил руку в седые волосы, помусолил и без того взъерошенный свой чуб, что-то прикинул в мыслях, собирая их в ответ, улыбнулся: «А зачем? Мы ж любим друг друга».

И было столько в этой улыбке нежности, той потаённой ласки, которой не нужны доказательства, слова, клятвы, что видишь и веришь: да, бывает и она, Любовь, в жизни. И глаза у Иваныча стали такие счастливые, такие блаженные, и смотрели они куда-то внутрь

души, туда, где, видимо, очень надёжно оберегаемый, жил образ любимой женщины.

И замолчали мужики, поняв, что соприкоснулись с чем-то таким, ими, к сожалению, не испытанным, а может, просто позабытым или незамеченным. И примерили к себе услышанное, позавидовав по-светлому, покопались у себя в памяти. Задумались. А слова кончились, ибо зачем слова, когда всё ясно по глазам.

Солнышко меж тем уже только одним глазком подглядывало из-за горизонта, в углах просыпалась темнота, село гомонить стало тише.

– А завязываем, однако, мужики, с посиделками. Пора по домам, пока наши не прибежали! – погладил Пётр свой живот и засуетился, убирая со стола. Все стали ему помогать, и через десять минут дружно потопали по домам. Шли, курили, изредка перебрасывались неважными словами, поддерживали друг друга на рытвинах. И уносили в душах тихое и светлое чувство – чувство любви.

Измена

Первые двадцать пять лет супружества Елена считала счастливыми: с мужем и сына вырастили, и дом большой благоустроенный построили, машина, вещи, интим в удовольствие – всё было у них с Григорием полной мерой. Сама на видном месте работала, муж – в своём частном предприятии. Что уж жаловаться!

А затем супруга как подменили: запил по-чёрному, с матами, с руганью, с оскорблениями. В минуты просветления вроде всё как прежде было: и деньги приносил, и сына женили, внук появился – живи да радуйся. А как напьётся, так всё кувырком – и ты дура некрасивая, и мама твоя, и вообще вся жизнь насмарку. А тут ещё и пенсия подоспела. Муж жил по графику: с утра – на работу, вечером – литр водки и концерт. Лет шесть она терпела, затем, разругавшись вдрызг, сняла квартиру и ушла.

Сначала она отдыхала душой и телом. Никто не материт, с пьяными соплями не пристаёт, недовольство обедом не выражает. Захочет – сходит к подружкам или по магазинам пробежится. Пенсии для одной хватало: Лена была женщиной аккуратной, расчётливой в хозяйственных делах, счёт копейкам вести умела. Выкраивала даже

на посещение косметического салона, следила за собой. Да и пятьдесят шесть – какой ещё возраст? Сын навещал, внука приводил – всё в шоколаде! Муж вначале позванивал. То назад звал, то грубил – в зависимости от состояния. А затем звать перестал.

Слухи дошли до неё не сразу. Сердце-то чуяло, да любой женщине всегда хочется верить в то, что она всё равно самая лучшая, что кто-то страдает по ней. А тут! Какой подлец! Бабу себе завел! Да ещё из числа общих знакомых, почти что друзей! Охамел! На курорт с ней поехал! Никогда Елена даже и не думала, что ей будет так обидно. Вроде уж год не живут вместе, можно было бы и привыкнуть к мысли, что у него своя жизнь может начаться, а вот поди-ка! Обидно стало! До слёз, до переживаний. Будет ещё какая-то бабища жить в её доме, ездить в её машине!

Поплакав немного, Лена взяла и вернулась домой. Её дом? Её! Имеет полное право!

Григорий отметил это очередной пьянкой. Разборки вспыхнули с новой силой:

– Да, я завёл бабу! А что мне делать? Ты ушла, а мне баба нужна. Я же не пойду проституток снимать! Я на виду в городе, мне и баба видная нужна, с положением.

– Да заводи кого хочешь! Но прежде давай разведёмся нормально: поделим имущество, машину. В доме и сын прописан, мама, моя доля есть. Вот выставим на продажу дом, продадим и поделим на четверых. И половину за машину на стол положи! А пока официально ты мой муж, и выполняй свои обязанности!

– Ни фига себе! Ещё и мама твоя?

– А когда её дом продавали и на её деньги свой строить начинали, чем ты думал?

– Дурак был.

– Сейчас поумнел? Вот и буду здесь жить, пока всё не поделим.

Григорьева пассия, уже мечтавшая прикарманить и мужика, и дом, и машину, развила бурную деятельность. Пустила волну слухов, что, мол, жена у него такая плохая, ушла от него, бросила дом, бросила мужика, голодного, холодного, необглаженного! Тот и предлагал мирное решение развода, да вот эта клуша на контакт не идёт, ерепенится! И вообще, что он в ней мог найти?! То ли дело она: и моложе на целых пять лет, и ухоженней, при работе, при власти! Всё при ней!

Слухи Елену зацепили за живое! Нет контакта? Значит, будет! Выждав момент, когда её благоверный смылся из дома, Лена пошла следом. Вот знакомая дверь – сюда она приходила в гости много лет назад. Задавив в себе нахлынувшую обиду, Лена позвонила в звонок.

– Кто там?

– Это я, твоя бывшая подруга! Открывай! Пришла к тебе для контакта!

После длительного шуршания дверь раскрылась. У-у! Стерва, разлучница! Опешила, глазами зыркает!

Елена прошла в квартиру. В комнате цепким взглядом оценила стол, накрытый, как говорится, для встречи при свечах: коньячок, фрукты, конфеты. Муж сидит, даже почти трезвый. Ухоженный мужичок, ничего даже ещё, видный такой. Взгляд в ожидании на жену вскинул, но молчит. Ждёт. Полюбовница к стенке встала, прижалась, насторожившись на всякий случай.

– Ну вот, здрасте вам. Хорошо сидите! Цивильненько! – Лена улыбнулась многообещающе, прошла и села за стол. – Ишь, как вы вкусненько устроились! – Обвела взглядом комнату. Заценив курьёзность ситуации, засмеялась глазами: боятся скандала, гады!

– Короче, не буду ходить вокруг да около! Всё понимаю, но хочу, чтобы и вы всё поняли! Ты пока, Гриша, мой муж, и ваши кувыркания и разъедоны я терпеть не намерена!

Голос подала подружка:

– Ну, что ты сделаешь, Лена? Ведь сама ушла!

– Я что сделаю? Да вот как сейчас зафигачу в твой посудный шкаф, вот и будешь знать, что я сделаю! – Лена схватила бутылку коньяка со стола и замахнулась в зеркальную дверцу серванта. – Разнесу тут всё по сторонам! К чёртовой бабушке!

Гриша, зная решительный характер супруги, выразительно поднял бровь: шибанёт или нет? В глазах даже загорелось любопытство – не каждый день бабы из-за тебя скандалят! Полюбовница нервно захихикала – жалко стало своё кровное имущество:

– Тише, тише! Ты же вон, почти год, не живёшь!

– Ну и что?! А сейчас вернулась! И он мне муж! Ну, может, у вас и любовь! Так я пойму! Бога ради! Знаю, что ты лучше меня ножками двигаешь! Сам мне рассказывал! Так живите! Но сначала разделим имущество! Или вот, спать у тебя есть где, пусть уходит, штаны забирает свои и идёт! Я сама тогда всё продавать буду. Но машину не трогает! Будет ещё он тебя на моей машине возить! Пусть выкупает

мою половину и катает тебя! А иначе возьму арматурину и изуродую свою половину машины! Вместе с тобой в ней! Мои требования простые! Так что принимайте условия, хотите жить в любви и согласии – тогда до развода и раздела имущества марш домой! Выполнять супружеский долг! Понятно?

Елена поставила бутылку на место и показала Грише на дверь. Он, правда, не побежал рысью, но и в ответ промолчал.

– А тебе, подруженька, мне так хочется подпакостить за твои сплетни! Я вот позвоню твоему начальнику, чтоб он знал про твоё распутство!

– Хи-хи-хи! Да он сам любовницу имеет!

– И вот эти твои слова ему передам!

Смех застрял у разлучницы в горле – такое развитие событий её не устраивало!

А Елена, заметив беспокойство в глазах соперницы, решила закрепить завоёванное пространство. Но как и чем? Рука нащупала в кармане жакета полоску ткани, узкая такая полоска красного цвета, гробы такой тканью оббивают. Мысль сыграла молниеносно:

– И вот я вам что сделаю, – руками, не торопясь, она завязала два узла на полоске, с удовольствие наблюдая, как взгляды любовников неотрывно прикованы к этим узлам. – Будете выполнять мои условия – будет всё нормально, а ежели начнёте за моей спиной снова шашни крутить, то как эти узлы сгниют, так и вы исчахните!

Сказала, как припечатала, повернулась и гордо, в мрачной тишине, вышла из квартиры. Настроение было двоякое: и смешно, и обидно. Хотелось и плакать, и смеяться. Городок уже почти весь спал – шёл третий час ночи. Пустынную улицу скупо освещал далёкий фонарь, пятиэтажки вдалеке светились одиночными окнами. Ночная прохлада тихонько студила разгорячённое лицо, не давая выступившим слезам скатываться по щекам. Удержала она слёзы – нечего из-за них плакать! Она же сильная женщина!

Григорий вернулся под утро, молча собрался и ушёл на работу, и вечером с работы пришёл трезвый. Домой пришёл. Лена промолчала: мужик характер выдерживает! Но раз пришёл домой, раз делает, как она сказала, раз там, у любовницы, сидел и молчал, значит, не всё ещё у него перегорело, не всё остыло в душе.

Кто знает, от чего мужики ходят налево? И бабы тоже? Наверное, ищут то, чего нет дома? Или просто от спортивного интереса? Но при таком интересе диалектика не всегда срабатывает: количество иногда

и не переходит в качество! Ну, ладно, реально посмотреть на эту ситуацию, всё верно: отказывает она ему в интиме уже давно. Но сказать, вот так, откровенно, разве охота подставлять губы для поцелуя пьяному мужику? Разве приятно нюхать его подмышки? Смотреть в мутные глаза? Да если бы не водка эта клятая, разве она бы стала обострять свои отношения с мужем? Ведь были счастливы, и это действительно так, без приукрашивания! Что сломалось? Кто виноват? Как сглазил кто! Хочешь – верь, хочешь – не верь в эту всю мистику! Такие годы были счастливые! Ведь не пять-шесть, а двадцать пять прожили.

Лена долго родить не могла – Гриша всё понимал, сочувствовал, ни разу словом не обидел. Он потом в аварии разбился – она терпеливо его выхаживала, по городам на операции возила. А тут? Под старость лет как сдурел, совсем с катушек съехал. Бес в ребро боднул с разбега? Да даже если тихонько бы и поблудил, может, она и вытерпела бы. Но когда ещё и с матами, с оскорблениями, да вечно пьяный... Так жить – себя не уважать.

Дни потянулись странные. Вроде вместе, под одной крышей, на неделю на родину съездили, по друзьям прокатились, даже несколько раз и молодость вспомнили с вечера. А вот какая-то оскомина всё равно мешала взаимоотношениям. Видно, как трудно склеить разбитую чашку, так и тут трудно склеить разбитую жизнь... Всё равно остаются шрамы...

Институтский друг Вовка приехал внезапно. Позвонил уже с вокзала – и прикатил на такси. Оба ему обрадовались: студенческое братство действительно помнится всегда. Да и воспоминания были яркие, все трое учились в одной группе, тут и экзамены общие, и практика, и бесшабашные вечеринки. На глазах у группы и проходила вся их студенческая жизнь, и свадьба Лены с Григорием. Володя женился гораздо позже, когда они уже разъехались по своим направлениям. Пути их разошлись в разные стороны, следы затерялись. И вот такая неожиданная, но, действительно, радостная встреча!

Засиделись допоздна. С удовольствием окунулись в атмосферу юности, студенчества, старых фотографий. Да и ужин был вкусный, обильный, разносольный: Лена хозяйка была домовитая, кулинарка опытная. Было, конечно, что и выпить, но Григорий не усердствовал, был слегка пьян, держался корректно. Володя, наоборот, с дороги опьянел больше, от сытой еды его разморило, но он держался всё

равно молодцом. Лена с удовольствием суетилась на кухне, и у неё эта встреча как-то стёрла негатив последних месяцев.

– Шли бы вы, мужики, на крыльцо, проветрились перед сном, – выпроводила Лена друзей на улицу, – а я тут к чаю стол соберу.

Стояла тёплая летняя ночь. Лампочка над крыльцом освещала двор, множество цветов вдоль дорожки, а там, где кончался освещённый круг, тихо шумели листьями деревья в садике. Казалось, жизнь была только в этом освещённом круге, а всё остальное плавало в тихом сне. Хотелось слушать тишину...

Мужики сначала помолчали, выкурили по сигаретке. Первым заговорил Володя. Голос его был неожиданно серьёзен:

– А ты знаешь, я ведь заехал специально к вам. Сколько лет прошло, а я, старый уже дурак, до сих пор люблю твою Ленку. Даже и женился, дети выросли, внуки растут, а вот её не могу вычеркнуть из души. Ты же помнишь, я ведь на вашей свадьбе не был, сказал, что дома что-то случилось, сказал, что уехать должен. Нет, я тогда у Васьки на квартире был, напился с горя до беспамятности, он меня по моей просьбе просто закрыл на ключ. Боялся, что я скандал устрою вам. А что скандалить?! Выбор был за ней, я же ей ничего и не говорил, я же влюбился, когда вы уже женихались вовсю. Какая вы пара была красивая, какие вы были счастливые! Вы так дополняли друг друга! А я, как посмотрю в её счастливые глаза, так сердце схватит! Как вытерпел только? Успокаивал себя: она счастлива, и слава Богу! С возрастом острота боли притупилась, вроде и со своей прожили не так уж и плохо. Я как бы вину свою перед ней чуял, не обижал, был примерным мужем. А тут, под старость лет, чувствую: надо высказать, не могу уже в сердце прятать. Лене всё равно не смогу сказать – как не знала, так пусть и дальше не знает. Мне, может, и жить осталось не так уж много, эта другой разговор, вот и приехал выплеснуть душу. Я ведь всегда знал, где вы живёте. Но мешать вам не хотел, вашему счастью. Ты не обижайся на меня за эти откровения, прости. Мы уже старые, мы уже можем говорить откровенно. Э-э-э! Да ты что? Плачешь? Гришка! Что с тобой? Ну, прости меня, не сдержался! Ну, извини старого дурака!

– Нет, Володька, это ты меня, дурака, прости! И спасибо тебе огромное, что приехал, что мне, идиоту, глаза раскрыл! И плачу я от своей глупости, что чуть-чуть было всё не доломал окончательно... Как шелуха с души моей слетела. Вот вспомнил всю молодость, как любили! Неужели мы под старость лет все дуреем? Гоняемся за

призраками каких-то чувств, а сами? Сами ломаем свою жизнь, своими руками! Мечемся, что-то из себя выкручиваем! А от добра добра не ищут. Ещё раз тебе спасибо, Володька! Ты заставил меня посмотреть на жену теми, жениховскими глазами. А на слёзы не обращай внимания, эта дурь моя выходит!

Они обнялись, похлопав друг друга по сутулым плечам, постояли на крыльце. Они снова были там, в своей молодости, красивыми и счастливыми, объединённые общей любовью. Но она была, эта любовь... И этой любви требовалась помощь...

Гришка вытер глаза и потянул друга в дом.

Осенняя грусть

Уборка дома завершалась: основные дела уже были сделаны, осталось напоследок вытереть пыль да вымыть полы. Субботнее осеннее утро проходило в хлопотах, но эти хлопоты Марину не напрягали – она любила чистоту и работу делала с удовольствием. Тем более дома была одна, муж уехал по своим делам, и она неторопливо складывала, мыла, передвигала, наводила тот блеск, который всегда восторгал её знакомых. Дом был комфортным, богатым по меркам маленького городка, пусть и без роскоши. Правда, после отъезда сына на учёбу дом давил тишиной.

Руки делали работу, а мысли, не стеснённые чьим-то присутствием, попорхав в закоулках души, вернулись к самому сокровенному, глубоко запрятанному – к Сергею. Вот уж не думала Марина, не гадала, что такое случится в её жизни.

Замуж выходила по любви; муж, статный, видный парень, быстро сориентировавшийся в жизни, мог обеспечить все её фантазии. Можно было только удивляться, как из двух сельских жителей вышла такая пара. Ну всё при них: дом, деньги, работа, умение одеваться.

Первые лет десять вообще проблем не было: пока сын рос, пока обустраивались. Второго ребёнка заводить вначале не хотели, потом привыкли. Вкусив независимости, всегда уверенная в себе, броская и красивая, Марина считала себя вполне сложившейся личностью. И уж мужским-то вниманием обделена не была.

Ну, вначале все эти вздохи, взгляды, тянущиеся руки её не волновали. Виктор был, как говорится, свет в окошке. А вот потом обидно стало: что за несправедливость – чужие говорят о её красоте, а муж молчит? А муж, заматерев, решил: хватит с жены того, что он рядом, и недостойно ему, мужчине занятому, комплименты жене говорить. Стал он очень требователен, придирчив, за плохо приготовленный обед или пыль на телевизоре мог и попрекнуть. Ночами стал жёстче. Сила-то была, и немалая, а вот слов ласковых давно уже не говорил. Или ревновал таким образом? Боялся слабинку дать? Да как-то и в гулянии на сторону замечен не был. Ну, ежели без афиширования, втихушку?... По крайней мере, поводов для подозрения не давал. Была у него какая-то, даже можно сказать, брезгливость к чужим бабам.

А Марина в этих вопросах не стала комплексовать. Появилось у неё желание проверить свои чары на мужиках. Вела себя с ними дерзко, откровенно, бросая вызов. Они и принимали этот вызов, делая предложения. С бесшабашностью, залихватски, она могла и согласиться на продолжение знакомства, конечно, при условии, что мужчина должен был соответствовать её требованиям. Разборчива была.

Когда Сергей появился у них в отделе, она на него и внимания не обратила: юнец, практически после института, гол как сокол, двенадцать лет разницы. Даже взгляд бросить не на что: роста небольшого, тощий. Сергей ещё и по характеру был упёртый, вреднючий и языкастый. Голова, правда, работала, знал много и по работе, и так от жизни не отставал. Пытался жениться, да разбежался со своей девчонкой, тут же другую нашёл, но предложение уже не торопился делать. Молоденькие девчонки-подружки Таня и Маня (вот уж не разлей вода, со школы дружат!) глазки ему построили, поулыбались, да, видно, кастинг не прошли. Марина, лениво отбивавшая ухаживания ещё одного коллеги, вообще ничего не заметила.

Марина помнила первое прикосновение. Вот говорят: как искра между ними пробежала. Не врут! Так и было! Она проходила мимо Сергея, разговаривающего с кем-то, и просто чуть-чуть отодвинула его с прохода между столами. Успела ощутить под тканью пиджака его тощие ребра, ещё не почувствовав ничего большего. Сергей повернулся и, извиняясь, улыбнулся. Глаза, как фонарики, вспыхнули совсем рядом. Вспыхнули и заглянули в самую душу. Вот вам и

искорка! Сто раз проходила абсолютно равнодушно мимо, а тут – пожалуйста! Марина, опешившая, прошла на своё место, села за стол, а руки помнили прикосновение, в памяти была его улыбка. «Ну, девка, ты даёшь!» – подумала она про себя. – «Этого тебе не хватало!» Непроизвольно она поглядывала на Сергея. А он что-то печатал на своём компьютере и по сторонам не смотрел...

С этого дня Марина изменилась. Стала более задумчивой. Она анализировала ситуацию, понимая её абсурдность, но себе могла сознаться: Сергей прочно занял место в сердце. А когда он, увидев её после посещения парикмахерской, сказал «какая вы красивая!», были отброшены все сомнения – влюбилась! Как юная дурочка, как школьница. Как глупенькая барышня! Да что слова – глаза говорили больше и откровеннее! В них плескалось такое восхищение, что Марина готова была смотреть и смотреть. Смотрел и Сергей...

Люди, наверное, и вправду чувствуют друг друга. И сказано ещё тогда ничего не было, а между ними уже ощущалась атмосфера взаимной притягательности: чаще задерживались взгляды друг на друге, домой им стало вдруг по пути, интересы совпадали. А когда на корпоративной вечеринке они танцевали танго, эту взаимность увидели многие. Правда, вслух ничего не высказывали. Видно, рано ещё было...

Марина понимала, что её чувства больше похожи на материнские. А вот справиться с кипением в душе не смогла! Всё вышло само собой: сначала гуляли по городу, встречались на самых отдалённых улицах, просто бродили и разговаривали, разговаривали, разговаривали... Им было хорошо и спокойно вдвоем: Марина чувствовала себя юной девчонкой; Сергей, видно, наоборот, взрослел при этом, им нравились их встречи, разговоры, смех, нравилось смотреть глаза в глаза, не видя ничего вокруг. Разница в возрасте даже не ощущалась! Так и довстречались! Что уж там греха таить: если двоих тянет друг к другу – устоять просто невозможно... Хоть и опыт был у каждого (ну, не такой, конечно!), первый раз они стеснялись друг друга, как подростки! Марина брала ответственность на себя:

– Это я тебя соблазнила!

А Сергей смеялся:

– Или я тебя выкрал?!

Встречи были редкими, может, поэтому и более желанными. И если Марина, несмотря на желание, как-то интуитивно оттягивала

встречи (да и негде было), то Сергей, наоборот, торопил её, замуж звал.

Как-то сидели они с подругой Элей за бутылочкой винца, хорошо так сидели, откровенничали. Так та прямо Марине и сказала:

– Ты, мать, совсем с ума спрыгнула! Витька узнает – бошку открутит!

– Да знаю я! Сама боюсь! И ведь понимаю, что будущего нет с Сергеем! А хочу! Ты знаешь, вот коснётся случайно – всё, хоть сейчас согласна! Домой приду – меня всё в моём раздражает: как ест, дышит, ходит! Сопит ночью и то противно! Секс как рабство! Чуть не плачу!

– Нетушки! Ты определяйся скорей!

– Так что определяться?! Здесь однозначно – что людей-то смешить? Мама с дитём! Ага, местный бомонд! Я же не дура, понимаю – на фиг я ему сдалась? Нет, он-то признался, прикинь, замуж зовёт! Мы же с ним встречались, как говорится, на нейтральной территории! Да не спрашивай, не буду я подробности рассказывать! Сердце и так рвётся! Да было-то всего несколько раз! Ну, дура я, дура! Не смогла удержаться!

– Маринка, ты, конечно, деваха видная! Твой возраст тебе и не дашь! Он, может, из-за мужского самолюбия тебя добивается?

– Хочется верить, что искренен. Да не похоже, чтоб крутил. Меня же многие соблазняли! Да боялись огласки! А этот в открытую действует, не стесняется своих чувств. Тут на работе один мужик в наш адрес проехался, так он ему в морду дал при всех! Я даже возгордилась!

– Ну и вляпалась ты! Видно, бальзаковский возраст даёт о себе знать.

– Наверное! Гормоны бесятся! Или любви хочется. Понимаешь, я-то знаю, что пора завязывать! А всё что-то тяну. Не решаюсь порвать. Он говорит, что я его душу чувствую, понимаю его, что с молодыми ему скучно, даже говорить не о чем. А я его убеждаю, что всё это пройдет, найдет он себе ещё девчонку. Такие вот дела...

– Да уж! А решать надо! К одному какому-то берегу прибиваться... Да и надоест любому мужику эта неопределённость.

– По большому счёту, Витька у меня хороший. Такого мужика бросить – девки не поймут! На куски порвут!

– Ты ещё и смеешься!

– Это смех сквозь слёзы! Знаешь, у нас с Виктором даже разговор был на эту тему. Он догадывался, молчал, а тут как-то высказал

претензии. Я, мол, стала другой. А я ему тоже ответила, что и он стал другой. Даже ласковых слов не говорит. Что-то в нём переменилось, дня через два даже цветы принёс, мягче стал.

– Запереживал, как бы тебя не увели!

– Похоже. Мне его тоже жаль, чувства-то ещё остались. Я понимаю, что сама виновата, допустила в душу, но, с другой стороны, так здорово ещё раз любовь пережить!

Посидели они тогда, поболтали. Маринка даже всплакнула немного.

А позже, спустя месяца три после этого разговора, действительно, в отношениях с Сергеем стала чувствоваться натянутость. Да и так год прошёл с той первой искорки. Этот год у Марины растянулся на полжизни, как в Бермудский треугольник улетели дни, переживания и сны. Всё чаще она стала задавать себе вопрос: «А мне это надо?» Увы, ответ в душе был отрицательный. Видно, прошло опьянение любовью, наступила трезвость рассудка. Да и встреч вне работы больше не было... Серёжка тоже чувствовал её надломленность, злился на её слова – уговоры найти себе девчонку, мирно разойтись и остаться просто друзьями. Оба понимали, что не сложить им общую судьбу.

А потом как-то зашла к ним в отдел девчонка, спросила Сергея. Тот засуетился, не глядя на Марину, собрался и ушёл куда-то вдвоём с незнакомкой. Под ручку! Марина ткнулась в бумаги, чувствуя, как коллег раздирает любопытство.

«Зато хоть не буду, как собака на сене!» – думала она про себя, – «Пусть бы женился, надо решаться!» Да не так-то это оказалось легко – выкинуть из сердца. Видно, женская стервозность, руководимая Мариной, взяла своё: тяжёлая обида грызла и грызла душу – её отодвинули! С одной стороны – сама хотела развязаться, а с другой – опоздала бросить Сергея первая, вот это и заставляло сердце чернеть. Это её всегда уговаривали о благосклонности, это её всегда просили, унижаясь, о снисходительности, это она всегда первая рвала отношения. А здесь не успела!

Правду говорят, от любви до ненависти – один шаг. Через несколько дней, узнав, что это была его невеста и дело идёт к свадьбе, она уже готова была вцепиться своими красивыми ухоженными ногтями в его глаза, в которые ещё так недавно любила смотреть...

А тут ещё Виктор как-то, мрачно глядя на неё, красящую ресницы, хмыкнул, что, мол, для своего хахаля молодого красишься? Правда,

сказал не «хахаль», а хлеще, стараясь побольнее задеть. Марина опешила, но, быстро приняв равнодушное выражение лица, в ответ лишь бросила: «Было бы ради кого! Запал пацан на меня, всего лишь и дел-то! Сопляк ещё!» Виктор повёл бровью, делая выводы про себя, и больше ничего не сказал. Уверенно себя чувствовал, в силе. Видно, просто подумал: нагуляется баба да к нему и приползёт. Больше любить будет! Или бояться?

А Марину жгла месть, самая натуральная банальная месть. В мыслях выстраивались картины мщения, одна заковыристей другой. И самое трудное было – не сорваться на скандал, а выждать момент.

Подставила она его по работе, передав начальнику информацию, которую Сергей не имел права разглашать. В результате этого конфликта столкнулись интересы начальника и главного босса, и начальник выглядел не самым лучшим образом. А подчинённым такие подставы не прощают... Скандал разгорелся нешуточный. Взбешенный, Сергей высказал всё Марине, высказал грубо и очень прямолинейно. Обида и самолюбие – чувства взрывоопасные. Высказал и, сжигая все мосты, уволился.

Марина ходила несколько дней на работу, упиваясь своей победой. Но вскоре заметила, что этой своей победе она радуется в одиночку. Сотрудники как-то отстранились от неё: шила в мешке не утаишь, их отношения не были для всех тайной, но здесь все оказались на стороне Сергея. Опытная мегера окрутила и подставила юнца! Вот какая сволочная бабёшка! Хоть и красивая, но стерва!

Мнения сотрудников Марину абсолютно не волновали: поболтают да и снова сядут, где сидели.

– Фигушки, чтобы я снова позволила себе в кого влюбиться? Да пошли они все! На мой век хватит! – откровенничала она перед Элей. – Порадовалась с ним, будут и другие! Если захочу!

– Нет, так не будет! – Эля внимательно заглянула в глаза Марины. – Во-первых, ты сильно переживаешь, хоть и вида не показываешь. А во-вторых, извини, ты сама виновата: не надо было пакостить ему. Любовь этого не прощает, и расставаться надо с любимыми, даже и бывшими, мирно. Чтоб крючков не оставалось!

– Да много ты понимаешь! Сама вон в разведёнках уже сколько лет! Нечего мне морали читать!

– Нечего так нечего! Жизнь твоя, – Эля, всегда послушная, нахмурила брови и замолчала: удар был по больному.

– Ну вот, сейчас ещё с тобой мне не хватало разлаяться!

– А что, с остальными уже со всеми разлаялась?

Марина опешила – подруга поворачивалась к ней той стороной, которую она у неё ещё ни разу не видела: стороной непослушной, жёсткой, с острыми углами. Что, получается, она одна против всех? Да выстою! Назло всем!

Эля посмотрела на неё:

– Вот когда ты была с Сергеем, я тебя понимала. А вот то, что ты ему свинью подложила, понять трудно. Зря ты так!

Так и расстались: вроде ссора и была, вроде и не было. А трещина в отношениях, как заноза, осталась. И дни потянулись какие-то безрадостные, и всё стало серым и безвкусным. Марина старалась держать марку: не забывала про обновки и макияж, ходила высоко подняв голову, да вот только победительницей в душе себя так и не чувствовала.

Время лечило её очень долго, нехотя. Стёрло остроту переживаний, запрятало в глубину эмоции, встречи, события. Жизнь шла своим чередом, просто Марина всё чаще ощущала себя не в центре этой жизни, а уже ближе к обочине. И мысли стали приходить всё более рассудительные.

Марина присела на диван, невидяще уставившись в окно. Спрессованная в несколько минут, промелькнула перед ней её такая несуразная любовь. Только сейчас, спустя уже столько времени, она признала правоту подружки: боль разлуки сжимала сердце, несмотря ни на что. В такие минуты, возвращаясь к прошлому, она вспоминала и жалела, что нельзя всё пережить по-новому, по-другому... Она была откровенна перед собой, но какая-то часть её души всё равно цеплялась за жалкие амбиции, за её гонор. Жизнь тыкала её носом в её же ошибки, и их надо было признавать.

Воспоминания сильно растревожили, а набежавшие слёзы, честно говоря, действительно, смыли тяжесть с сердца. Может, такое переживание как подведение итогов и помогло в этом, но Марина почувствовала лёгкость на душе, наступившее спокойствие. Как будто со слезами, с признанием своих перекосов пришло некое обновление, прояснение, принятие выстраданного, но такого необходимого решения.

Марина встала, посмотрела в зеркало, взлохматила волосы, вытерла слёзы:

– Ну, что ж, поделом. Стерва я, стерва. Прости, если сможешь. Прошла любовь, но она была, и это здорово! А будет ли она ещё – поживём – увидим.

Ребёнок

Посмотрела вчера кино. Странно так называется: «Похороните меня за плинтусом».

Причём тут плинтус? Разве там хоронят? А пацана жалко: там вообще бабка жуткая у него такая. Мать почему-то только издалека смотрит на него. И почему он не с ней живет?

А у меня бабушка хорошая. И мама хорошая. Правда, мне у бабушки лучше. А папы у меня два: первого я вообще ни разу не видела, и не знаю, какой он. А знаю второго. Про первого я и не знала, что он где-то есть. Мне уже воспитатель в садике, которая перед школой нас проверяла, сказала: «Раз у тебя папу зовут Анатолий, то ты должна быть Анатольевна, а не Викторовна. А раз ты Викторовна, то и папу должны звать Виктором. А раз отчества и имя отца не совпадают, значит, у тебя другой папа, не родной». А как не родной? Меня папа всегда дочей зовёт. Когда я дома спросила маму об этом, она сначала сильно расстроилась, а потом рассказала, что, да, она второй раз замуж вышла, что первый муж, мой отец, её бил, поэтому она ушла от него. Но раз меня второй её муж растит, значит, он и есть настоящий папа.

А мне просто интересно, какой он, мой первый папа? Где он? А он обо мне думает? Вспоминает? Мама говорит, что, может, и вспомнит когда-нибудь. А бабушка сказала, что, если бы я ему была нужна, то он бы хоть рубль да прислал, знает же ведь, где мы живём, или хоть письмо написал бы. Говорит, он злой очень был, людей ненавидел. Всех, что ли? Ну, ладно там пьяниц или злодеев, бандитов. А нас – за что? Ни мама, ни бабушка сильно не рассказывают мне про него. Ну и ладно! Не очень-то и хотелось! У меня есть папа, он хороший. Мне другого и не надо! Моему брату пять лет, а мне – девять, будем жить дальше.

Плохо, что папа дома не всегда. Он так работает: два месяца – где-то, недели три – дома. Мама говорит, это вахта называется. Мама

также говорит, что эта вахта ей жизнь портит, но надо терпеть, так как мы в большом городе строим квартиру и летом туда жить поедем. А я не хочу. Мне здесь нравится. Здесь бабушка есть. Я не хочу от бабушки уезжать. Я бы поехала, если бы бабушка поехала с нами. Но бабушка говорит, что всем нам там будет тесно, да здесь же и дядя, и дедушка ещё есть, дом, огород. Что ей там будет тяжело на седьмом этаже. А я ей говорю, тогда оставь меня у себя. А бабушка смеется и отшучивается, мол, посмотрим. А что смотреть: ем я мало, меня прокормить легко, тихонько рядом буду и всё. Растила же меня бабушка, пока я маленькая была и мама институт заканчивала. А сама ещё работала. И всё же успевала.

Мне и с мамой охота быть, и с бабушкой. Мама дома сидит с нами, много умеет делать интересных вещей – картинок всяких, поделок, шьёт и нам, и себе. Рисует красиво. А я чувствую, что она брата любит больше. Его и прижмёт, и погладит, а меня нет. А бабушка обоих обнимает. Мама мной всегда недовольна, она мне даже сказала: «А за что тебя любить?» Я бабушке рассказала, а она меня поцеловала и ответила: «А за то, что ты её дочь!» Бабушка не ругается, когда я с ней сплю и ноги грею об неё. Она смеётся и называет меня «лягухой», и греет, укрывает меня ночью одеялом. Когда я обхватываю её руку во сне, мне и сны снятся хорошие. А утром я часто чувствую, как бабушка гладит меня по щеке, тихонько-тихонько, и мне так хорошо-хорошо, но я делаю вид, что ещё сплю. И просто радуюсь этому. А мама считает, что это глупости и телячьи нежности. А братишку-то гладит! Он часто к ней убегает спать. И мне тоже охота! Но я же большая уже, мне нельзя! Ага, а с бабушкой можно?

Мама всё равно хорошая, вот ещё бы чуть-чуть была ласковее со мной, и всё. Я совсем-совсем не обижалась бы на неё. Бабушка говорит, что просто я напоминаю маме первого мужа, она на меня подсознательно (А это как значит? Я не совсем поняла, надо потом расспросить.) переносит плохое к нему отношение и обиды. То есть, не совсем понимая, что делает? Тогда я её прощу. Я и так не злюсь на неё, хотя бывает очень обидно. Просто, почему она не верит в меня? Почему почти всегда говорит, что я не смогу одно или другое, что и учусь плохо, в музыкальной школе плохо играю. Что я убираться не умею, и называет меня при этом грязнулей или ещё грубее. Ну, не люблю я убираться! Зато уже и суп умею варить, и картошку пожарю. А бабушка верит в меня. Бабушка говорит, что в первую очередь и мне самой надо верить в свои силы.

Я бы и с мамой осталась, и с бабушкой. Я же их вместе люблю, обеих. И брата люблю, пусть он и вредным бывает. И папу, и дедушку. Даже старый бабушкин дом люблю. Я же в городе буду совсем одна. Я боюсь его, и машин, и больших домов. Там всё чужое, не моё. И по телевизору всегда показывают, что девочек крадут и убивают. А перед тем, как убить, ещё и мучают. И ещё там, говорят, живут наркоманы какие-то. Я не знаю, кто это такие, но их все не любят и боятся.

Вот можно было бы быть волшебницей, сильной и смелой, как Сейлор Мун, например! И чтоб подружки такие же были! Мы бы тогда всё зло победили! И летать бы могли. Раз – и в город! Раз – и назад, к бабушке! И от злых мальчишек могли защититься. В школе особенно. Они всегда толкаются и матерятся. А мне обидно. Один старшеклассник что-то у меня спросил, а я не поняла. Он и говорит: «У тебя, что, не все дома?» Я ответила: «Да, ещё папа не приехал, а мама дома». Он так захохотал надо мной. Я хоть и не поняла из-за чего он засмеялся, но очень было обидно. Бабушка потом объяснила, что и к чему. Потом и мне стало смешно, но всё равно, что смеяться, я же ещё маленькая. Вообще, старшие часто нас обижают: то кричат на нас, то ругаются.

В школе учительница, если чуть-чуть замедлишь с ответом, сразу начинает орать: «Что, совсем дура, что ли?» Да-а, а 8 марта на подарок ей деньги сдавать надо! Но совсем не хочется её поздравлять с праздником! И оценки ставит нечестно: Маринке – всегда пятёрки, даже если запинается, а Юрке никогда даже четвёрку не поставит, хотя он всё-всё ответит. Конечно, Маринку-то на такой большой машине в школу привозят и денег у них много. Всегда тряпками хвастается. И сплетничает.

А ещё я хочу, чтоб у меня была подружка настоящая, с которой можно и поиграть, и поболтать. Но у меня такой нет ни в классе, ни на улице. Я вообще без подружки. И мне тяжело. А мама говорит, подожди, будет и у тебя подружка. И бабушка говорит так же. И ещё говорит, чтобы я сама выбрала подружку себе и подружилась с ней. Но настоящая подружка должна не только играть со мной в куклы. Нужно, чтобы с ней и поговорить можно было о чём-нибудь интересном.

А ещё я чувствую себя маааааленькой-маааааленькой, и мне так хочется спрятаться где-нибудь в тёплом уютном гнёздышке с книжкой, чтоб никто меня не тормошил. Или взять и взлететь высоко, к небу, на

мягкое облако забраться, лечь, и плыть на нём далеко, далеко, далеко...

Выбор

Поезд стучал колёсами в предновогодней ночи, скрипел на поворотах. Мимо, выныривая из темноты, проносились станции; луна, заглядывая в окна, бежала рядом с поездом, стараясь не отстать от освещённых вагонов.

Татьяна смотрела на тёмный лес, контуром чернеющий на фоне более светлого неба, мысли текли потихоньку. Ничто не мешало ей думать: пожилая пара уже легла, а четвёртое место было свободно. Преддипломная сессия, сумбурная и хлопотливая пролетела быстро. Зачёты, экзамены, курсовые – всё спрессовано, всё сразу, кучей. Заочники – люди уже зачастую в возрасте, им совмещать работу с учёбой трудновато. Зачётка у неё была в порядке: троек не было, да и четвёрки были редки. Хорошо, что Таня ещё и работала по специальности, и семьи у неё по молодости не было, хотя дело к этому, может, и шло.

Два месяца назад она на заводской вечеринке танцевала с Максимом. Вообще-то, шла она на неё в надежде, что танцевать будет с Виктором. Их отношения тянулись уже всё лето, но как-то вяло. Может, причиной этого были его неуверенность и робость. Хороший парень, и внешне симпатичен, и по душе ему Татьяна, но попыток перевести знакомство хотя бы в дружбу не делал. Ну, а Татьяна не хотела сама навязываться – гордость не позволяла. Виктор ей нравился, но хотелось более ярких эмоций.

Виктор и пригласил её на первый танец. Но даже музыка танго не освободила его от скованности – танцевали молча, не глядя друг на друга. А на второй медленный танец, опережая Виктора, к ней подскочил Максим. Она знала его чисто внешне, знала, что он вместе с братьями и Виктором работает в соседнем цехе, но лично знакома с ним не была.

– И когда же у вас свадьба? – сразу же спросил Максим.

– Какая? С кем? – Таня удивилась, и не столько вопросу, сколько такой бесцеремонности кавалера.

– С Виктором, конечно! Разве нет?

Татьяна опешила:

– Если да, то я об этом даже не знаю!

А Максим, немного бравируя, стал говорить, что, мол, как это «не знаю», вся бригада уже приглашена, а раз нет, то можно ли с ней задружить? И прижался своей щекой к Таниной. Это первое прикосновение, щека к щеке, было таким тёплым, уютным, таким родным... В нём было столько нежности, радости, мягкого счастья, что Татьяна просто потеряла чувство реальности. Мелькнула странная мысль: вот бы так навсегда! Она взглянула в глаза Максима, спрятанные за немного старомодными очками, и увидела там... страх. Страх и решительность одновременно. Как у прыгающего с обрыва. Как у человека, который не знает, что ему сейчас прилетит: улыбка или пощёчина. Сердце у Татьяны застучало учащённо. Сквозь напускную раскованность она почувствовала молчаливую просьбу – не ругайся! И ей стало хорошо и спокойно.

А вот провожать её домой Максим не пошёл – автобус в пригород, где он жил, уходил первым. Татьяна, шутя, на прощанье подарила ему яблоко, случайно, но так кстати оказавшееся в кармане. Провожать её пошёл Виктор. Шёл всю дорогу молча, ни о чем не разговаривая. Татьяне было больно, она видела его страдания, чувствовала к нему симпатию, переживала за него. Но не могла себя пересилить, спросить его в открытую, растормошить. В начале последнего квартала Татьяна не выдержала:

– Всё, дальше не надо.

И пошла, ожидая услышать: «Погоди, не уходи! Я с тобой!» Не услышала... Сдерживая слёзы, постояла у калитки, не дождалась и зашла домой.

Следующие две недели она никого не видела: ни Виктора, ни Максима. Оба хорошие парни – хоть куда. Один – не понятно, что думает, но она его давно знает, и он ей нравится. Другой зацепил за душу и пропал. Таня, пострадав, отодвинула всю эту историю в глубину сердца – приближалась сессия, а там – и диплом. Время покажет, не будет же она сама их разыскивать! Нет, действительно, не отпустил бы её Виктор, проявил бы решительность, предложил выйти замуж – осталась бы с ним. И даже голову бы не ломала: слишком кратковременным было знакомство с Максимом. Да и девятнадцать лет – мелочи, всё ещё впереди! Значит, не судьба!

Они появились в пятницу. Был предпраздничный день, цех готовился, прихорашивался. Сначала пришёл Виктор. Постоял рядом, помолчал, потом спросил:

– На праздники-то что будешь делать?

– Не знаю ещё, к сессии готовится, наверное. А что?

– Да ничего, так просто. Я тоже буду дома.

И опять помолчали... Татьяна складывала инструмент, убирала станок. Виктор стоял рядом, молча наблюдал за ней, вздыхал. Шли минуты, становилось уже неуютно. И вдруг Татьяна увидела Максима, он шёл по цеху, останавливаясь поговорить то с одним рабочим, то с другим. Таня с удивлением смотрела за его перемещениями, не зная, что и ожидать. Виктор тоже увидел соперника, вздохнул:

– Ну, я пошёл.

– Иди.

– До свидания.

– До свидания.

И ушёл. Подошедший Максим, игриво-весёлый, с ходу, после пары фраз, предложил встретиться:

– Можно, я в гости к тебе приду? А где ты живёшь?

И опять Татьяна была ошарашена его натиском:

– Ну, приходи, – и сказала адрес.

И он пришёл. И сразу же поздоровался с Татьяниной мамой:

– Здравствуйте, мама!

Анна Михайловна засмеялась:

– Здравствуй, здравствуй, сынок! Это чей ты такой шустрый будешь?

Он не переставал удивлять!

А через два дня Таня уехала на сессию. Одолевали мысли: то ли задружили, то ли нет. Считать эту встречу началом отношений, или это всё ещё ничего не значит? Чай попили, до автобуса проводила его – и всё! И никакой он не наглый, не развязный – наоборот, скромный и спокойный. А все эти его эпатажи – это как прыжок в неизвестное, как последний шанс! Но Татьяна уже понимала: Максим вытеснил Виктора из её души. И пусть ещё были сомнения и переживания – из них двоих предпочтение она отдаст ему...

До родного городка оставалось часа полтора, до Нового года – пять. В конце января придётся ехать уже на защиту диплома. Что принесёт ей этот Новый год? Разлуку? Любовь? Счастье? Переживания? Татьяна вздохнула и начала готовиться к выходу.

Перрон был в огнях новогодних украшений, тихо падающий снег искрился, сверкал неоновыми отблесками, ложился ровно, бело, сказочно... Суетился народ, встречающий и уезжающий. Таня надеялась только на маму: ей она посылала телеграмму, сообщая, когда приезжает. До дома хоть и близко, но переулки тёмные, да и время очень позднее. А вот и она торопится навстречу, маленькая, с батожком, уже такая старенькая! А рядом... Максим! Раскинув руки он подбежал, обнял, прижался своей щекой к её щеке, как тогда...

– С приездом! Вот я и поймал свою рыбку! – рассмеялся он, намекая на месяц её рождения. – И уже не отпущу!

Таня спрятала лицо в вороте распахнутой куртки, вдохнула такой родной, до головокружения, запах, и засмеялась счастливо и радостно:

– Да я и сама не отпущу!

***

Только на двадцать шестой годовщине их свадьбы Максим рассказал, что был у них с Виктором договор: первым пойдёт Виктор на ту встречу в цеху. Уговорит он Татьяну на свидание, скажет о своих чувствах, получит положительный ответ – Максим уйдёт в сторону. Если не выйдет ничего – через пятнадцать минут придёт Максим, уйдёт Виктор. Тот, так ничего и не сказав, ушёл...

Виктор женился только лет через пять. Правда, внуков от единственной дочери он не дождался: помешал ранний инфаркт... Без любви сердце умирает очень быстро...

Монолог

Фигу им, а не квартиру! Захотели на готовенькое! Я им устрою жизнь по интересам! Жил бы дома, а то жениться решил. Привёл тут выдру тощую, да ещё и с ребёнком. Не захотел слушать меня – вот и пусть сами всё себе купят! Задурила мальчику голову – вот и пусть испытает, что я испытала! Ха! Жить захотела в областном городе! Приехала тут, провинция зачуханная! А ты помучайся, как я!

Это сейчас у меня и квартира, и машина, муж, правда, уже бывший. Два образования высших, вот, да и талантливая я. Квартиру здесь купили – кто ремонт делал, контролировал? Я. И рисовать могу. Хоть и не Левитан, но неплохо получается, все говорят. Замуж вышла,

сына родила, мужа вечно ждала после его бесконечных вахт. Мне кто помогал? Сама всё. На работу, с работы – всё одна и одна. А жить приходилось где попало! За ним уж поездила по России. Он на вахту, а я где-нибудь рядом. Работы нет – и шила на людей, и в школе труд вела, короче, где устроюсь! Сыну отгорожу в углу, что он там делает – потом разберёмся! От одиночества хоть на стенки лезь! Все годы молодые тоскливые были. Нет, когда он приезжал, всё как бы и было нормально, что зря наговаривать. Он спокойный, серьёзный мужик, должность на предприятии солидная. Деньги были хорошие и тогда, и сейчас. Правда, сейчас уже другая деньгами распоряжается... Да и чёрт с ней. Это случилось уже потом: отвыкли, видно, друг от друга. Погуливал. Сначала тихо, так, от скуки.

Я тогда сына, уже подросшего, его матери и подкинула – пусть старуха водится. А что? Она образованная, музыку преподавала. На пенсии делать нечего – вот пусть и воспитывает внука!

Она его муштровала – он и на гитаре научился играть, и школу с красным аттестатом окончил. В институт поступил – тут и мы квартиру купили. С нами стал жить. Большой вырос, видный, умный, диплом красный, муж его к себе устроил.

Вроде и семья ещё была. Я тогда и пожила в своё удовольствие! Деньги трачу, сколько хочу! Ну, может, и больше бы могла, зарплата мужа и сына хоть и большая, да не миллионы же. Хотела – на курорт ехала, на любой концерт ходила, машину вожу сама, еду куда хочу. А вот работу свою потеряла, пока квартиру ремонтировали. Да и не в этом вопрос – деньги же были. Я на мужа с сыном ишачила, ради них всё терпела – вот пусть они на меня сейчас и работают!

Откуда эта девка на мою голову свалилась? Ну, мальчик уже большой, секс нужен. Когда он привёл её, я к ней нормально отнеслась: понимаю, гормонам выход нужен! А они через полгода поженились! Надеялись в моей квартире жить? Но и что, что трёхкомнатная! Дайте мне пожить для себя, без ваших тут носков и тряпок! Так сразу им и сказала! Думала, расстанутся, а сын, глупый ещё, взял и в общагу к ней ушёл! Ну, напугал! Вот и пусть в общий туалет в очереди постоят!

У свекрови квартира полуторная, да и старая она. Не пошли к ней. Или она не пустила? Да вроде та поговаривала, что отпишет квартиру внуку. Муж мой – у неё единственный ребёнок, и у нас один сын. Кому ж ещё?

Пожениться и то не смогли по-нормальному! Её родители, видите ли, не могли приехать: сватьин брат умер! Без них похоронили бы! Потом уже приехали. Да и хорошо, что один раз и были! И не надо поважать, а то привыкнут в гости ездить! Сватья, правда, потом ещё приезжала. Один раз, когда внук родился, но я тогда специально уехала из города. Решили жить в ихнем Задрюпинске! Приехала она помочь с переездом! Я сказала сыну: «Живи, как хочешь и где хочешь! Лучше вам там – бога ради! Мне спокойнее!»

А второй раз – что-то со здоровьем было. Встретила её, увезла в больницу, а дальше мне некогда было с ней возиться, сама уехала. Но это ещё ладно! Всё равно, я им и подарки делала: книжку большую её дочери подарила.

Это уже позже я сорвалась. Года полтора внуку было, приехали все вместе, что-то там у внука случилось, на консультацию направили. Сына дома не было, а эта, пятилетняя, прыгала по дому. Видно, голова у меня и разболелась. Я всё и высказала. От одного нагуляла, второму голову закрутила, а всё ради квартиры и денег! Ни рожи, ни кожи, ни рубашку постирать! Та побледнела, что-то попыталась сказать, да я ей не дала. Стоит, молчит, губы кусает. Невестушка! А эта пигалица из рук рвётся: «Мама, почему она на тебя орёт? Пусти, я ей в лоб дам!» Ну-ну! Воспитаньице! Вечером уехала с детьми в свой городишко, больше я её и не видела. А этот глупыш ушёл ночевать к друзьям, ему ещё надо было дела делать.

Ну, не хочет по-хорошему, будет по-моему! Хренушки, проживу и без вас. Назло ему и бабкину квартиру продала, когда та померла. Разменяла на две и в аренду сдаю. Зато проблем нет с деньгами. Мой к этому времени уже открыто жил с другой, денег не присылал. А когда сама сдохну, пусть, что хотят, то и делают. И с этой квартирой, и с теми двумя.

Вот, уже семь лет внуку, знаю, приезжают сюда, да останавливаются у друзей. Сын заскакивает иногда и всё. Настырный. В ипотеку квартиру купили, скоро переедут сюда. Была я у них раз в пустой квартире: надо было встретиться по документам со строителями. Сын попросил подъехать. Я что? Приехала. Поприсутствовала. И снова к себе. В тишину и покой.

Последние лет пять и муж дома был всего раза два. В другом месте ему интереснее, другая, видно, слаще и понятливее. А я одна. В тишине. Вот, вспоминаю. Ну и что такого, что коньячком пахнет! А почему бы и нет!? В меру, по рюмашке иногда, меня пьяной никто и не

видит, контроль не теряю над собой, кому какое дело. Стены давят, вот и налью себе. С кем говорить-то? С собой и разговариваю, всё доказываю свою правоту. Я же ведь должна её доказать, я же права! Я проживу! Вот они пусть проживут. Пусть я сдохну в этой квартире, но просить прощения не буду! Ни за что! Ни у кого! Потому что я одна... Потому что я никому не нужна...

Колядки

В этот вечер деревня не хотела засыпать. Из дома в дом ходили ряженые, суетились люди, горели огни. Песни и прибаутки звенели под огромным звёздчатым шатром сибирского неба. В колядках участвовали все: взрослые наряжались солидно, ходили друг к другу в гости, поздравляли, выпивали за Новый год стаканчик самогоночки и уже ещё большей толпой шли к следующим. Среди ряженых Ленька с удивлением увидел свою мамку, облачённую в отцовский сварочный костюм с пришитым на месте хвоста настоящим держаком. Мать вертела верёвкой и шутливо отгоняла держаком ребятишек, старающихся оторвать импровизированный хвост. Маленькие мальчишки и девчонки ходили отдельно от взрослых, отчаянно мёрзли и, шмыгая сопливыми носишками, щедровали. В их мешки сыпались булки, варёные яйца, карамельки.

Пацаны постарше кучковались на мосту. Они оживлённо перепирались к кому пойти пошкодничать. Предновогодний вечер – вполне легальная возможность насолить тому, кто осенью гонял их с огорода или вообще отличался вредностью характера. Тут мнения разделялись:

– Айда к Макарихе! Она вон Петьке прутом чуть глаз не выбила!

– Нет, лучше сначала к Бабаю: он никогда покурить не даёт!

– А пошли к Ермакикале, она ругается смешно! Послухаем!

Огоньки папирос светились в руках мальчишек, раздавался смех, выкрики. Пацаны перепихивались, толкались на мосту, изредка освещаемые огнями проезжающих машин. Мороз жал нешуточно, забирался под худенькую одежонку, щипал носы и щёки. Но всё равно никто не расходился, ожидая веселья и проказы.

Посовещавшись, толпа парнишек приступила к военным действиям. Сначала было распределено, кто куда пойдёт. На верху горы хозяйничали горские пацаны, туда низовским соваться было нельзя: граница! А здесь, у моста, все подворья были в их владении. Первым пострадала Ермакикала. Мальчишки ловко, одним махом, раскатали поленницу за углом сараюшки и также моментально, всей оравой, сложили её перед калиткой, перегородив выход. Когда хозяйка спохватилась выйти на лай собачонки, дело было сделано! Пацаны залегли в сугроб за забором и с удовольствием слушали, как Ермакикала, от рождения говорящая картаво, ругала их на чём свет стоит. Правда, злости в голосе не было: розыгрыши на Святки – дело необидное!

Макарихе они насыпали снега под калитку и облили водой. Не лень же им было с ведром бегать на речку несколько раз! Ещё не совсем старая Макариха на свою беду рано легла спать, и мальчишки чёрное дело делали в абсолютной безопасности!

Больше всех пострадал Бабай. К нему приехал кум из соседней деревни, они дружно сидели за праздничным столом, слышались уже возбуждённые голоса и песни. Проказники распрягли смирную лошадку, понуро стоящую у ворот и задумчиво хрупающую сено, выкатили сани и, проваливаясь в глубокий снег, укатили их к вдалеке стоящему сараю. С хохотом всей толпой затащили сани на крышу постройки, не замечая ни мороза, ни тающего в валенках снега. Не до них!

Домой они разбрелись только тогда, когда окончательно задубели от мороза. Лёнька прибежал в свою избушку, скинул заледенелые варежки, штаны, торопливо зажевал кусок пирога, запивая молоком, и нырнул к сестрёнкам на печку. Тепло от кирпичей быстро сморило его. Укрывшись овчинным полушубком, Лёнька быстро уснул.

Утром его рано разбудил отец. Улыбаясь в чапаевские усы, он дёргал его за ногу:

– Эй, шкодник! Вставай, калитку от наледи отбивай! Видно, ваши соперники – горские постарались! А вы всё проспали, прошляпили!

Сайт знакомств

Он приехал как-то под вечер. На правах родственника. Жизнь преподнесла ему неожиданность: жена вдруг дёрнулась и ушла жить к дочери. А так как они были официально разведены уже очень давно (пришлось оформить развод ради спасения бизнеса), то и вышло: пенсия по инвалидности, бизнеса нет и всё «нажитое непосильным трудом» вмиг оказалось не его.

Оставшись один в хорошем благоустроенном доме, от скуки пить не стал, в отчаяние не ударился, депрессии не поддался, а стал заниматься компьютером. Зная ранее лишь, как включать и тыкать пальцем в wordовской программке, но имея пытливый ум, быстро разобрался что к чему. Научился подключаться к интернету через сотовый, работать с «мылом», пересылать файлы, фотки и прочие «фишки». Большего ему и не надобно было.

А потом ради прикола зарегистрировался на сайте знакомств. И тут... Нахлынувшие предложения пообщаться, их количество и откровенность выбили его из состояния душевного равновесия. Надо было срочно делиться информацией хоть с кем-нибудь! Надо было рассказать хоть кому-нибудь!

И вот он с горящими глазами сидит, пьёт зелёный чай и говорит, говорит, говорит...

– Ты прикинь, они мне компьютер с той стороны ломают, ко мне рвутся! Со всей России! У них что, местных мужиков нет? Или они такие озабоченные? За два дня сто двадцать писем пришло! Чего только не пишут!

– Ну, ты слишком-то губу не раскатывай! Да и сильно не верь, много аферисток отслеживают такие сайты.

– Там бабы-то в возрасте! Да я и написал, что на пенсии, что ничего нет.

– Боже, да с той стороны может тебе писать юнец продвинутый, тинейджер какой-нибудь.

– А фото? Там же видно, что баба.

– Да фото тебе с любого журнала вставят, с любого другого сайта скачают.

Минуту он внимательно смотрит на меня, видно, раскладывая полученную информацию по полочкам, проверяя, не обманываю ли я его.

– Одна есть такая, видно, тоже с фантиком, как и я. Кошечек присылает, цветочки.

– Ну, это избитый ассортимент! Ни к чему не обязывает, это как бы надо так.

– Не, они натурально мне в любви объясняются! Одна с Белоруссии пишет: «Дай адрес, я еду к тебе!» И главное, денег у меня не просят!

– Это, может, пока, а когда приедут...

– Да что я могу? Я сам сижу на капусте! Пенсия-то фиговая!

– А они про это не знают!

– Знают! Я же написал – только общение, и что пенсионер.

– Значит, не верят!

– Я вот что понять не могу. Как можно писать «скучаю да спать не могу»? Она ж меня ни разу не видела?

– Да это просто ей хочется про любовь писать. Ты для неё виртуальный жених. Ну, как бы кто-то есть, можно поговорить, помечтать, но носки грязные при этом стирать ей не надо. Удобно! А любить-то хочется! Одиночество давит. А так сидишь перед твоей фоткой, окрылённый мерцанием экрана, а может, и перед несколькими фотками, и мечтаешь! Вроде как кто-то рядом и сидит!

– Не-а, ты прикинь! Они из-за меня рассорились, уже между собой ведут разборки!

– Ну, вот и женишься!

– А на что жить? На пенсию?

– Ну вот, дамочек завлёк, а сам – в кусты! Теперь и расхлёбывай!

Он заразительно смеётся. Его забавляет вся эта история с корреспондентками – круглое лицо расплывается в довольной улыбке, глазки весело поблёскивают.

С месяц он от души веселился, отвечал на все послания, но, надо отдать ему должное, женщин не обижал, грубостей не писал. Со временем из пишущих женщины остались самые стойкие, те, кому действительно нужно было просто общение: женщины сострадательные, готовые помочь словом в житейской ситуации. Жена, видя, что он за ней бежать и уговаривать не собирается, разобиделась, начала говорить всем родственникам, что это он её из дома выгнал, завёл кучу баб и водит их в дом. Воспользовавшись

случаем, когда он в очередной раз уехал из города по судебной тяжбе, жена вернулась к брошенному очагу. Теперь уже он оказался на правах гостя.

Возвращение жены не помирило их. От постоянных бурчаний и упрёков он уехал опять по делам в областной город, да и остался у одной из своих корреспонденток. Виртуальная подружка отнеслась к его визиту лояльно, с пониманием момента, но и без каких-либо претензий на личную жизнь.

Новый виток судьбы закрутил его, протащил по новым дорожкам и, по правде говоря, вывел из тупика. Теперь он редко появлялся у неё, чаще звонил.

– Ну как там твои женщины? Пишут?

– Да уже почти нет. Да и что писать? Некогда.

– На работу-то устроился?

– Зачем? Меня кормят! – от души смеется он. – Но я пенсию отдаю! Вот суд зимой выиграю, буду с деньгами! Главное, верят!

Он поправил очки, поскрёб за ухом. Задумался на секунды:

– А ты знаешь, душой отдыхаю: ни претензий, ни упрёков, ни вечного бурчания и скандалов. Чёрт, прожил жизнь и только под старость понял, что самое ценное – покой в доме. Были деньги – вечно были какие-то проблемы, вечно жена была чем-то недовольна, вечно чувство вины на меня навешивала. Как денег не стало – дочь морду воротит, жена ушла. Правда, вернулась, теперь меня вот выгнала. Видно, не я, а деньги нужны были им. А сейчас человеком себя чувствую. Знаю, есть мои три тыщи – на них и живу. И знаю – меня уважают и такого. Я сейчас оклемаюсь после операции, работать-то всё равно буду, не привык сидеть без дела.

– Ну да, помнишь как в романсе: «Дай Бог, чтобы тебя жена любила даже нищим». Да, видно, редко так бывает, не каждому везёт. Проверка чувств на истинность...

Он уехал. И если у него всё будет хорошо, навряд ли приедет или позвонит. Наши дорожки опять побегут где-то рядом, не пересекаясь, до очередной встречи.

Крик

Посвящается всем родителям, рано потерявшим своих детей

Это не повесть и не рассказ. Это мысли и воспоминания. Здесь почти нет имён. Здесь есть Мать и Ребёнок. Остальное – не важно. Остальное остаётся за границей листа, остальное – у каждого своё. Эти воспоминания написаны от имени всех Матерей, рано потерявших своих детей.

Пусть читающий простит меня за сумбурность изложения. Рассказывая о прошлом, мы часто перескакиваем с одной мысли на другую, что-то дополняем уже с учётом нынешней точки зрения.

И у каждой Матери своя Дата, свой день... И мы, Матери, кричим, как кричали тогда, на могиле своего ребёнка... И это наша судьба – жить с этой болью. А время не лечит. Время просто учит жить с этим криком в душе.

Пусть простят меня родные и близкие, что в воспоминаниях на первом месте чувства Матери. Хотя Отцы, сёстры, братья также несут в себе такую же боль, такие же переживания. Здесь – просто Мать, женщина, родившая ребёнка. И потерявшего его...

Глава первая

– Сын! Сыно-о-к! – кричала она, тянулась к нему руками, душой и сердцем, но сын уходил всё дальше и дальше, пока его силуэт совсем не растаял в мареве сна. Лишь оглянулся напоследок, прощаясь...

Сон прервался болью в сердце. Заколотилось оно, затрепыхалось, как будто пытаясь вырваться из груди. Женщина открыла глаза, но слёзы мешали ей что-либо увидеть в темноте комнаты. Она прислушалась к тихому дыханию мужа, пытаясь понять, не разбудила ли она его? Кричала ли она вслух или только во сне? Тихонько встала и, накинув халат, вышла в кухню. Было светло от фонарей, снег пронзительно белел от света полной луны, мирно шелестели часы в простенке. Здесь, на окраине городка, было первозданно тихо, ночь усыпила всех, прикрыв звёздным одеялом укутанные сугробами дома.

Лишь изредка тишину нарушали поезда, громыхающие колёсами на стыках рельс.

Женщина подсела к столу, вытерла слёзы подвернувшимся под руку полотенцем и стала смотреть в окно. Собака, почувствовав движение, подошла к тёмному стеклу, с минуту смотрела, пытаясь разглядеть лицо хозяйки, и побежала по двору.

Сердце стало успокаиваться, стучать ритмично, без перебоев, и боль прошла, затаившись для очередного броска.

Женщина привыкла к таким ночным посиделкам на кухне: два года назад у них погиб сын. Четырнадцать лет назад прицепилась к нему эпилепсия, появившаяся без особых причин, но сломавшая ему всю жизнь, перечеркнувшая все его мечты и возможности. Каждый приступ был как маленькая смерть. И во время последнего приступа пришла смерть настоящая, чёрная и страшная. Всего пять минут сын был один. Упал он в судорогах около почти прогоревшего камина, но жару хватило, чтобы загорелась на нём куртка и шапочка. Муж зашёл в дом, когда сын горел... И хоть процент ожога был небольшой (на лице даже ресницы не обгорели), были повреждены рука, уши, шея и, самое главное, лицо... Семнадцать дней реанимации и ... всё...

Слёзы опять побежали по щекам. Они жгли кожу, срываясь и падая на сплетённые пальцы рук... Два года непрерывной душевной боли, мук и переживаний.

Она редко видела сына во сне. За два года всего лишь раза три, и то неясно, мимолетно, силуэтом. Она просила Бога дать ей возможность хотя бы одним глазком взглянуть на сына, пусть и во сне, но, видно, было у Бога опасение, что она уйдёт за сыном, не проснувшись, раньше срока. В сегодняшнем коротком сне она впервые успела рассмотреть его глаза и улыбку, кинулась к нему, чтобы обнять, прижать, но... Безжалостно короткий сон...

Часы на плите беззвучно отсчитывали минуты, помигивая красным светом. Слёзы не принесли облегчения, лишь пришло ощущение чёрной глубины, пустоты и боли: слёзы горя – тяжёлые слёзы.

Женщина встала, вымыла заплаканное лицо, вздохнула с тихим всхлипом и вернулась в спальню. Осторожно примостилась рядом с мужем, закрыла глаза. Тридцать второй год шёл сыну. Ушёл, не оставив ни жены, ни детей. Всё не складывалось как-то... Остались лишь одни воспоминания.

Воспоминание первое

День выдался хлопотным. Сварила обед и пораньше, пока нет духоты – к маме, проведать. Мечта была накопать свежей картошки – ну очень хотелось! Ребёнок пинался в животе, просясь на божий свет, но ему было, по моим расчётам, ещё рано. Муж – на работе, дочка – в садике, настроение хорошее, чай у мамы вкусен, картошка накопана – здорово! Да ещё и огурцы малосольные в пакетике! В припрыжку за автобусом (домой надо успеть до пяти часов): муж перед отпуском работал последний день и собирался по малину куда-то в сторону Абакана.

Только мужа проводила на поезд – пришла подруга с просьбой: «У дочери день рождения, можно сходить в ведомственный магазин за конфетами и чем-нибудь вкусненьким?» Да пожалуйста! Сходила в магазин, купила, что требовалось, чаю попили, поболтали. Пришла племянница Наталья переночевать у меня за компанию, подстраховать. Всё! Устала! Дочка накупанная спать легла, картошка отварена, огурцы на столе ждут. Сейчас в тишине с племяшкой сядем, покушаем... Ой, что-то закрутило меня!

– Однако, я рожать надумала!

– Да ну, что вы говорите! Ещё же две недели!

– Правда-правда! По-моему, сейчас рожу!

– Давайте подождём! Чуть что, «скорую» и вызовем!

– Ночь скоро. Кто двери тебе откроет позвонить? Пошли к твоим, пока ещё не поздно.

Поплелись. Сестра старше, опытнее. Пересчитала срок:

– Да тебе через два дня рожать, каких две недели! Что ты насчитала? Пошли давай, в роддом отведу!

Роддом был рядом, через улицу. Пришли, устроили меня в палату – успели. Ночь, все спят. Дежурная акушерка Галина Сергеевна обошла отделение, прилегла на пустующую соседнюю кровать:

– К утру, девонька, родишь. Отдыхай!

И захрапела. Так. Похоже, не к утру – раньше рожу. Крутит сильно.

– Галина Сергеевна, хорошо уже хватает!

– Считай схваточки, считай! Утром родишь, не бойся!

И храпит. Да так аппетитно!

– Ой, Галина Сергеевна, вы посмотрите, рожаю ведь!

– Да, да. Сейчас посмотрю. Считай схваточки, считай!

И снова храпит. Губами причмокивает. Меня смех разбирает: я ещё ни разу не встречала, чтобы человек так быстро от яви ко сну переходил. Только что разговаривала – и тут же храпит! А схватки уже настоящие, лоб вспотел, кости расходятся.

– Галина Сергеевна! Рожаю! Я и дочь быстро родила! Посмотрите!

– Да? Сейчас, сейчас! – Хр-р-р! – Встаю. – Х-р-р! О-о-о! Побежали на стол, побежали! Да брось ты тапочки – бегом, бегом! Поздравляю, сын у тебя! Хорошо заорал, сразу же! Три двести. Сорок восемь сантиметров. Пуповина вот голову обмотала, но всё в порядке.

Я потом не нашла нигде даже записи про пуповину. Может, это и послужило причиной будущей болезни, сейчас и не узнаешь... Почти все врачи отрицали такую связь, только врач Центра восточной медицины, куда мы с сыном обратились после того, когда ему от лекарств и лечения стало хуже, свой первый вопрос задал именно такой: «У него при родах голова не была обмотана пуповиной?»

Воспоминание второе

Исполнился сыну год, отвели его в ясли. Пошёл так, будто всё там знал. Спокойно, с удовольствием, без капризов. Только вечером приходили за ним с плюшкой-печенюшкой: ужина в яслях не было, в пять часов детей разбирали. Странно, но первое его слово после «мамы-папы» было «кран» – напротив наших окон дом новый строился. Дочка с ним играла с удовольствием – в детстве они жили дружно. А вот когда подрос, и стали его независимость и самостоятельность проявляться, тогда и могли спорить между собой. Как-то перед самой школой оставили дома под строгим запретом: «Не выходить!» Наказан за что-то был. Пришла после работы – нет никого! Домываю полы – заявляется чудо-чадо! И с порога:

– Я хочу оставить за собой право ходить на улицу, когда мне надо!

Едва сдерживаю смех:

– О, какая декларация прав человека! А я хочу оставить за собой право поддать тебе вот этой тряпкой, если ты уйдёшь, не сказав, куда, и не выполнив свое задание по уборке квартиры!

Конечно, не поддала. Дети желанные, любимые. Муж с удовольствием с ними возился вечерами, пока я на кухне своими делами женскими занималась. Дочь на три года сына старше была, такая самостоятельная. Хорошие дети.

Воспоминание третье

Школа началась – пошли проблемы. Как-то ему было тесно в этих школьных рамках, тяжело было корпеть над задачками, стараться выводить буковки. Сын с детства всё разграничивал: это ему надо, а вот это не надо. Правило учить – не надо, книгу «Век океана» читать надо. Практик был по характеру – рано стал всё делать своими руками. Во втором классе мог подключить розетку (главное, даже не отключая напряжение!), починить утюг. На подоконнике у него вечно был склад всяких железячек, где что-то мигало, разговаривало, крутилось. Откуда он это знал и умел? Мы с мужем далеки от электричества, а он рано начал ремонтировать транзисторы, радиоприёмники.

Лет в десять был у него конфликт. Сын дружил ещё с пятью мальчишками. Вот они однажды в подвале соседнего дома комнату заброшенную нашли, убрались в ней, решили «качалку» сделать. Сын смонтировал всю электропроводку, с лампочками, с розетками и выключателями. А старшие подростки их выгнали – сила была на их стороне. Он тогда снял все провода и унёс. И даже когда они ему подвесили огромный фингал, не уступил: «Сами делайте». Характерец у него был ещё тот, упрямый!

Чутьё у него было на всё электрическое, самоделкин настоящий. И электричество его слушалось. Когда подрос, мы вообще забот не знали: мотоцикл, машина, антенна, телевизор – хоть что мог отремонтировать. После седьмого класса ушёл из школы, пошёл работать. Параллельно окончил вечернюю, курсы по ремонту теле-радиоаппаратуры при учебном комбинате. В компьютеры, правда, не лез. Болезнь и здесь ему не дала возможности жить: каждый приступ стирал часть его памяти. В нём был огромный потенциал умения, который из-за его упрямства, поперечности, болезни так и остался нераскрытым. Может, и мы, родители, что-то упустили... На второй день после похорон в доме электричество «сошло с ума»: что-то перегорало, мигало, не работало. Видно, так оно с ним прощалось...

Воспоминание четвёртое

А вообще добрым был. Как-то на моё предложение записаться в секцию карате философски ответил: «Мама, вы же знаете: я не могу ударить человека!» Лет десять ему было... К девчонкам всегда

относился уважительно, никого никогда не обижал, не обзывал. Мы его называли джентльменом.

Лет восемнадцать ему было – сдружился он с одноклассником нашей дочери, пришедшим из армии. Знал его и до службы, только тогда больше ощущалась разница в возрасте. Зима, почти ночь. Жду, когда заявится домой. Мы ведь уже были взрослыми, попивали пивко с друзьями! Хорохорились. Форточка открыта, слышимость отличная – примораживало. Идут два другана, языки заплетаются! Друг бубнит, на жизнь жалуется:

– Да я же взрослый мужик! Я музыку хочу слушать, и слушать громкую! А мать мне выключает, кричит на меня! Дура старая! У меня весь драйв от громкости!

И сын отвечает:

– Не-е-ет, Андрюха, ты не прав! Мать есть мать, её уважать надо! Слушай на полную громкость, когда один дома, а так – уважь! И не рычи так на мать, а то в морду дам!

Я его зауважала! Честно, они не знали, что я их слышу. И за всю его короткую жизнь я ни разу не слышала от него грубого слова ни в свой адрес, ни в адрес другой какой-либо женщины. Боже, какое от него шло душевное тепло, когда он при встрече обнимал меня, приехавшую после очередного курса химиотерапии… Мой бедный, больной сын поддерживал меня, ослабевшую после операции, всем своим сердцем... Иногда мне сейчас кажется, что я живу его жизнь...

Воспоминание пятое

Шкодливым был. Лет в семь попалась ему книга «Физика у нас дома». Каждый раз, возвращаясь домой, я не знала, что ожидать. Дома что-то взрывалось, горело, чем-то пахло. Я находила гнутые спицы, градусник, обмотанный проволокой, остатки какой-то пластмассы. А однажды, убираясь дома, я вымела из-под его кровати... презерватив! Волосы на голове встали дыбом, мысли очень нехорошие возникли сразу же. Но дети же ещё маленькие! Откуда?! Едва дождалась, когда они придут домой. После расспросов выяснилось: «Я опыты ставил. Просто у меня воздушного шарика под рукой не было!» Позже, уже лет в семнадцать, я снова нашла у него презервативы. Ну, тут что скажешь! Вырос!

– Сын! Почему они на полке лежат, среди книг? В спальне, в шкафу, под постельным бельём пусть и лежат в одном месте!

– Я знаю. Но это не мои.

– Чьи?? Почему у нас??

У друга мама не разрешала, а им очень хотелось покрасоваться! Мол, взрослые! Вот и нашли место для хранения.

Воспоминание шестое

С женщинами ему не везло. Верил всем. И нарывался на обман. Но всё равно снова верил. За десять лет его взрослой жизни была и любовь, было и желание создать семью. Он хотел, чтобы у него была жена, дети, работа. В семнадцать лет задружил с соседкой. Глядели друг на друга такими глазами, что я думала, что вот-вот стану бабушкой. Как вдруг без объяснения причин девочка выходит замуж за другого. Переживал, конечно. Напился, протрезвел и сказал: «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло!» Простил. Стал жить дальше. Было это ещё до первого приступа. Может, нервное переживание тоже внесло свою лепту в болезнь?

Позже, года в двадцать три, привёл молодую женщину, ровесницу, правда, уже с ребёнком. Мы отнеслись спокойно: женщина нам понравилась, шустренькая, на рынке работала. Познакомились с её родителями, посватались, сын при всех её руки попросил. Получил согласие, стали жить. А через два месяца услышал от неё: «Я люблю твоего друга, а не тебя». И перебралась к другу, родила ему сына, да через два года сама ушла из жизни. Стала сватья растить двоих внуков, а зять болтаться по городу. Пил, пока не встретил «белочку». А сын переживал за него – друг всё-таки! Мы, встречаясь с несостоявшейся сватьей, плачем, вспоминая своих детей...

А третья «дама» была такая вертихвостка, прости меня Господи, что он сам её через три месяца выставил из квартиры, которую мы им сняли... После этого он не делал попыток знакомить нас со своими пассиями, всё говорил: «Надо будет – познакомлю...» Видно, уже не верил...

К слову сказать, он по натуре был всё-таки оптимистом. Помогало ему в этом чувство юмора: любил пошутить, посмеяться. Даже над собой всегда подтрунивал. Я понимаю, если бы не эти его качества, он

просто не сопротивлялся бы болезни, сдался бы, как многие в его положении и делают.

Глава вторая

Первые месяцы были просто чёрными. Дышать не хотелось. Лечь и умереть, чтобы уйти туда, к сыну. Увидеть его, обнять. Попросить прощения. За то, что не уберегли, не вылечили, не досмотрели... Руки помнили ёршик сыновьих волос, когда мать его гладила, лежащего в гробу, чёрного, обгорелого, в коростах. Всё отболело: уши, кончик носа, губы... Вместо глаз – сплошная корка. На щеке и сбоку на висках врачи уже начинали потихоньку эти коросты отмачивать, видна была розовая кожа. Больше не успели... Ноги под брюками прощупывались как одни кости, за три недели стали худыми-худыми...

Муж винил себя. Зачем он вышел на эти пять минут из дома? Почему не задержался? Не помог? Как ему доказать, объяснить, что не его вина в этом? Не найдёшь виновного в таких делах, всё связывалось тугим узлом, всё складывалось по чьему-то велению сверху... И приступ мог быть не в эти минуты, и упасть он мог в сторону, и сидел он далеко от камина, и камин мог быть остывшим, и решётка на камине могла быть целой, а не сломаться за неделю до трагедии. Много чего «могло быть», а исход один – смерть. И у каждого она приходит в свой срок.

Придя с работы в первый день после похорон, муж, пряча заплаканные глаза, вдруг сказал:

– А меня не взяли. Я хотел, а меня не взяли.

– Кого не взяли? Куда? – жена испугалась. Первая мысль – муж неадекватен. – О чём ты?

– Я просился. Хотел. А меня не взяли...

– Кто? – она заглядывала мужу в лицо, пытаясь поймать взгляд.

– Я утром тебе ничего говорить не стал. Я сон видел, маму. Она стояла в калитке дома с кем-то, что-то говорила. А за ней такой вид был красивый, такие краски яркие, я здесь таких не видел. Я побежал к ней, кричу, а она повернулась и перед моим носом калитку закрыла. Я снова её открываю – там, серо, пусто, никого нет... Ни мамы, ни сына, ни красок ярких...

– Значит, рано тебе уходить. Надо жить здесь. У нас ещё дочь, внуки. Ради них будем держаться.

После девяти дней дочь уехала в город, и они остались вдвоём с мужем. Стало ещё труднее. Разговоры были лишние, ненужные. Но и тишина давила сердце и душу. Часто ночью они лежали тихо-тихо, каждый со своими думами. Чувствовали, что другой не спит. Молча рукой проверяли друг друга: не плачет ли? И вытирали слёзы. В этом жесте была обоюдная поддержка, понимание, забота. Без слов.

Женщина держалась. Понимала, сломается она – разрушится семья. Из последних сил, она вытаскивала себя делами из этой чёрной ямы. Проводив мужа на работу, она варила, убирала и шла в ремонтируемый дом штукатурить. Протапливала камин. Глядела на огонь и плакала. Душа рвалась и кричала. И ей хотелось кричать в голос, надрывно, долго, выплескивая всю боль, чтобы не сойти с ума, не наложить на себя руки. Но лишь поскуливала от этой боли, качаясь из стороны в сторону, не видя ничего, кроме огня, забравшего её сына.

Преодолевая слабость, вставала, разводила раствор и мазала стены. Давала себе задание: надо сделать вот этот проём. Задыхалась, руки дрожали, но она заставляла себя работать, выполнить запланированное. Понимала – надо. Понимала – только не расслабляться. Понимала – должна. При муже старалась не плакать, бодрилась, насколько это было возможно. Успокаивала его: наш сын не единственный, кто ушёл рано. У многих знакомых дети тоже погибли в юности, каждый по-своему. Скорее всего, она так успокаивала себя.

Прошли сороковины. Жизнь заставляла их заниматься делами, общаться, что-то делать. На людях было легче держаться. Хотя друзья и родственники помогали, поддерживали, всё равно – каждому плакать в жилетку не будешь, заботы у каждого свои. Иногда, правда, разговор с тем, кто тоже потерял ребёнка, так будоражил душу, что слёзы лились сами, удержать их не было сил. Как сквозь прорванную плотину, вырывалось всё наружу, выплёскивалось, выплакивалось... Но боль не становилась меньше или слабее. Время просто учило их жить с этой болью, запрятав её в потаённые уголки сознания.

Воспоминание седьмое

Любил быть на речке. Порыбачить, посидеть с удочкой. Не для ловли рыбы, для удовольствия. Просто нравилось посидеть на бережку, помечтать. Была у него мечта – второй раз сплавиться по

Мане. Первый раз, ещё до болезни, сплавлялся с пацанами на трёх лодках. Старшим с ними был мой знакомый, опытный путешественник, бывший военный. Без него, наверное, не рискнула бы отпустить: им было тогда всего по семнадцать, а Мана – река не маленькая, опасная. Вернулся такой довольный, счастливый. Альбом с фотографиями вон лежит, на полке. Открою – посмотрю, поплачу. Здесь всё ещё впереди, ещё здоровый, радостный, влюблённый... За месяц до смерти на дощечке нарисовал пейзаж: речка, лес, костёр, палатка... На мраморе памятника ему мы эту картинку и выгравировали...

Было ему лет одиннадцать, когда сказали мне, что, мол, не долгожитель он у нас. Он рисковый был, смелый, и я, как всякая мать, переживала за него. Но не сидеть же, не ждать смерти. Я эти слова постаралась не брать в голову. Просила его быть поаккуратнее, да разве они, мальчишки, будут слушать? Как-то сосед по площадке остановил меня:

– Вы знаете, ваш сын через крышу на балкон сегодня лазил.

– Как лазил? Ведь пятый этаж!

– Да, да. Пятый этаж. Залез на крышу и запрыгнул на балкон.

– Господи, у него же ключей не было, он же дома сидел.

– Видно, вышел, а назад – уже через балкон. Я сам так испугался, когда увидел. Сколько ему? Лет одиннадцать? Двенадцать?

В это же время вдвоём с другом вечером удрали на дачу с ночёвкой. Как они до неё добрались, на чём? Пешком, наверное. Я ночь пропрыгала, утром первой электричкой – туда. Спят на веранде, холодно, закутались в одеяло и старое пальто, оба чумазые, в саже. Глазами хлопают на меня. И смех, и грех! Махом огород полили! Вообще, дружба у него была на первом месте. Сколько раз ругались – надо на огород, а у него свои дела. Ещё бы лет в восемнадцать – это было бы понятно, но в восемь-десять лет... Упрётся, как барашек – нет, и всё!

В первом классе подарил моё кольцо какой-то девочке, так, на память! Было бы попроще – подарил, да подарил. Но ведь золотое, подаренное мужем на день рождения дочери. Так и не сказал, кому.

– Вырасту, куплю тебе такое же. Но не скажу!

Вырос, но купить не получилось. Уже лет двадцать пять ему было, сидели, смеялись и вспомнили этот случай. Говорю:

– Сын, дело не в кольце, но кому подарил? Что за девочка?

Так и не сказал, отшутился. Упрямство было у него в крови. Было своё понятие о честности, долге. Когда в седьмом классе решил

покончить с учёбой, долго меня обманывал: так живописно рассказывал, как ходит в школу, по какому предмету что спрашивали, что получил... Я слушала, пока не теряла терпение: «Ты же сегодня вообще в школе не был!» Тогда сознавался: да, не был. В бумагах до сих пор лежит записка: «Ваш сын пропускает уроки...» А молодую учительницу жалел, когда её мальчишки на уроке доводили, не слушались. Вот меня можно было обманывать, а где-то, может, лучше и не сказать всей правды – скажет всё честно. Но ложь ради своей выгоды, в ущерб кому-то – никогда. Или упрётся: «Не буду говорить!» Всё! Хоть кол на голове теши. Если помощь кому нужна – ночь за полночь идёт, помогает. Надёжный. Так о нём друзья на поминках и сказали, когда я их спросила, какой он был в отношениях с ними.

Глава третья

Сказать, что со временем стало легче – ничего не сказать. Да, они с мужем делали все дела по дому, ходили на работу, встречали друзей. Стали включать телевизор, который долго стоял молчаливым напоминанием другой жизни. Да, они стали иногда и смеяться, и шутить. Жизнь продолжалась. Они это понимали, старались держаться в рамках внешнего спокойствия. Одна часть их сознания существовала в этих рамках, другая постоянно помнила и кричала: «Сын!» В этом крике вмещалось вся боль потери, сердце стучало в ритме: «Сын! Сын! Сын!» И перехватывало дыхание: никогда они его не увидят. Никогда! Умом это понять можно, но сердце продолжает ждать.

Женщина как-то раз поймала себя на мысли: ей стало больно видеть чужих детей. В каждом ребёнке ей чудился сын, его детство, его поступки. Она подсознательно сравнивала сына и чужих детей, и сравнение всегда было в пользу сына... И лишь летом, через полгода после похорон, когда приехали внуки на каникулы, она отошла сердцем. Возила внучку к приятельнице, а там – ребёнок, девочка полутора лет, с такими ясными глазёнками! Они и растопили лёд в душе. Тогда женщина впервые за полгода смогла прижать к груди чужого ребёнка, погладить, посмеяться с девочкой.

Муж страдал по-мужски, молчаливо. Стал чаще ходить к соседу, молодому парню, с которым сын перед смертью сдружился. В общении находил отдушину: вместе что-то обсудят, помогут друг

другу. Относился к нему по-отцовски, с заботой. Переживал за него. Были у того проблемы после Чечни...

Лето принесло много дел по дому, по хозяйству: надо было закончить ремонт дома, внуки и огород требовали внимания. В этой сутолоке подкралась осень, затем и первая зима в одиночестве. Супруги поддерживали друг друга, стараясь говорить и вспоминать что-нибудь хорошее. Но иногда в это кажущееся спокойствие прорывались воспоминания. Тогда они разговаривали о сыне, выуживая из памяти любые, даже мельчайшие, подробности из детства, молодости... И обнявшись, плакали, успокаивая самих себя. А потом снова жили дальше.

Воспоминание восьмое

Было ему лет пятнадцать-шестнадцать, сейчас и не скажешь точнее. В вечернюю пошёл сам записываться, потом друга уговорил. Друг был маленький, худенький с огромными красивыми чёрными глазами. Штирлицем звали почему-то. Друг раз остался ночевать, второй. Объясняет – мать пьёт. Где она сейчас, он не знает. Сын предлагал его усыновить. Так друг и живёт почти месяц. По дому мне помогает, вроде повеселел. А тут разболелся что-то. Я испугалась за него, а врача сразу вызвать и не знаю как: документов нет. Почему у меня, где родители? Что тут объяснишь. Побежала разыскивать его тёток, нашла, проводила. Самое трудное было объяснить сыну, почему его другу надо домой или хотя бы к тётке.

Тот потом приходил, какое-то время дружили, пока их пути года через два не разошлись. Наркотики. Сын, если и пробовал что-то курнуть, был против них категорически. Может, кто-то скажет, что, мол, мать выгораживает. Нет, я переживала за этот момент, и, когда сын в первый раз попал с приступом в больницу, сразу же спросила врача. Он успокоил: «Нет». Эта беда его не коснулась...

Воспоминание девятое

Не буду говорить про болезнь. Тяжело, больно, да и вообще... Просто приходилось жить с учётом приступов, с учётом того, что многое «нельзя». А он гордый был, ему было трудно признаваться

себе, что он инвалид. С работой была проблема. Где устроится, там обязательно произойдёт какая-нибудь неприятность. Работал в ателье по ремонту теле-радиоаппаратуры, довольный был очень, нравилось ему там. Мастер попался человечный, спокойный. Я ему до сих пор благодарна за понимание. Но хозяин решил сократить своих работников. Конечно, сократил нашего сына.

Потом устроился сторожем на пилораму. Рядом с домом, всё хорошо. Проработал месяца три и снова несуразица. Ночью была сильная гроза, а у него, видно, приступ случился в это время. А наутро ему говорят, что с «Урала» аккумуляторы сняли. Он их и не видел, про них даже не говорили. Автомашина вообще «левая» была. Позже мужики рассказали, что эти аккумуляторы снял свой же работник. Но «наехали» на сына, мы заплатили за эти аккумуляторы, хотя знали, что можно было и поспорить. Сын даже не был оформлен на работу, и с должностными обязанностями его никто не знакомил. Мы заплатили за свою фамилию, за сына. Для нас это было важнее.

Глава четвёртая

День годовщины выдался морозным. Лес на кладбище стоял заснеженный, молчаливый, лишь дятел где-то постукивал по лесине. Памятник ещё не был установлен – стоял просто деревянный крест, из-под снега виднелись цветы на венках. Здесь можно было не сдерживаться, и женщина, отвернувшись от остальных, съежившись на скамейке, молча плакала. Ей казалось, что сын здесь, она видит его фигуру, лицо, слышит его голос. Муж нервно курил рядом, изредка наклоняясь, чтобы то смести снег, то поправить цветы. Он прятал глаза, стараясь незаметно вытереть слёзы. А те, что не успевал вытереть, маленькими льдинками повисали на усах. Холод быстро выморозил тепло, застудил сердце. Женщине казалось, что жизнь её тихонько замедляет своё биение, сжимаясь где-то внутри в маленький комочек, становившийся всё меньше и меньше. Ещё чуть-чуть, и она тихо покинет этот мир. Остановилось время.

Муж, переживая за неё, приобнял за плечи:

– Пора, милая, пойдём, а то застудишься. Тебе нельзя простывать.

Она подчинилась ему, медленно убрала со столика. Вернулись домой. Внутренний озноб не покидал её весь вечер. Машинально она делала все дела, накрывала стол, сидела со всеми, что-то говорила,

вспоминала, рассказывала. Внешне всё выдержав. А внутри мысли, картинки трагедии, звуки: «Вот год уже прошёл. А как будто вчера. Как будто вот только что – сын, с ожогами, не понимающий после приступа, что случилось, пытающийся куда-то пойти, что-то делать. Фельдшер со скорой помощи, ставившая противошоковый укол. Улицы заснеженного городка, сирена, приёмный покой хирургии. Утомительная процедура оформления. Вещи сына, пропитанные запахом гари. Чёрные обгорелые губы, нос... Каталка. Последний поцелуй, последнее поглаживание здорового плеча, руки. И всё. И голос главврача, которому она позвонила ещё до приезда «скорой»: «Да что вы переживаете! Лицо, рука? Это процентов пятнадцать ожога. Ничего страшного, не бойтесь! Молодой, крепкий. Выживет!» Не выжил...

За год они не могли найти хорошую фотографию сына. Расспросили друзей, родственников, перерыли все альбомы. Все фото были или нечёткие, или мелкие. Знакомый художник по имеющимся фото нарисовал портрет. Он ухватил взгляд с лукавинкой, полуулыбку, теплоту души. Но супругу, в отличие от неё, портрет не понравился: «Не сын». Женщина с дочерью уже обговорили вариант памятника без фото, как за неделю до годовщины, совсем случайно, в шкатулке, где даже не предполагалось фотографий, нашлась одна маленькая, но чёткая, с которой вышли портрет и фото на памятник. С лёгкой улыбкой сын смотрит прямо в глаза, вскинув голову. Во взгляде, немножко с грустинкой, – вызов человека, будто знающего свою судьбу...

Воспоминание десятое

Перед самой смертью он два дня был какой-то спокойный, грустный. Третьего января пришёл домой: уходил на квартиру отмечать с друзьями Новый год, выспаться в тишине. Из Иркутска приехала дочь с внуками, стало тесно, шумно. Жили в летней кухне – дом стоял полуразобранный, в зиму успели вставить окна, постелить пол да камин начерно сделать. Вот сын и убежал на праздники. Что греха таить – думала, вернётся выпивший. Но нет. Пришёл трезвый, спокойный, молчаливо всё делает, сядет, глядит в окно, весь в своих думах. Спрашиваю, пытаю, что, мол, случилось? Всё ли в порядке?

Отвечает, что всё нормально, всё хорошо. Прижму к себе, приглажу волосы. Думаю, ладно. Попозже расскажет.

Шестого января муж уехал в деревню, там кто-то из родственников умер. Мы с дочерью рождественский ужин готовим, тесто катаем. Внучка спрашивает: «Баба, а у дяди давно приступ был?» Вот почему она спросила, тоже что-то чуяла? Детским сердечком чувствовала? Отвечаю: «Да как бы не должен, в конце декабря был, ещё рано». А сама приехавшему мужу говорю, чтобы он приглядывал за сыном: ни с бензопилой, ни с электроинструментом не давал работать. Да судьбу не обманешь. Проклятые пять минут! Так, видно, было предопределено: ни раньше, ни позже случился приступ. Видно, потянулся он выбросить окурок в камин, когда его крутануло прямо на горячие кирпичи... Синтетическая куртка вспыхнула моментально. Был бы в сознании – скинул бы её одним махом, а тут... Муж в дом заходит – сын горит. Оттащил его, стал голыми руками тушить огонь, срывая сплавленные куски куртки. И только когда всё потушил, рванулся в кухню с криком: «Сын обгорел, вызывай «скорую»!» Господи! Десять минут, пока ехала «скорая», мне показались вечностью! Честно говоря, я думала, что сын выживет. Ну, останется на носу ожог – сделаем пластику, это не самое страшное. Живой же, в сознании, на руке волдырь уже слез, реснички даже почти не обгорели. Лет семь назад кипятком обварился (на руках шрамы до сих пор) – даже в больницу не обращались. Что в реанимацию не пускают – тоже понятно: ожог – вещь воспалительная, любая инфекция опасна. Приезжала утром и вечером. Выходил врач-реаниматолог, сжимал кулаки в карманах халата:

– Ничего определённого пока сказать вам не могу. Ждите три недели. Сейчас мы его держим в искусственной коме, на аппарате искусственного дыхания. Первый день не страшный, потом опухоль, токсикоз от отравления организма. Необходимо проверить лёгкие: может, и там отравлено. Ещё ожидаем повышение температуры. Всё зависит от того, как справится организм.

– Может, в Иркутск его увезти?

– Мы созваниваемся с областным ожоговым центром. Лечение всё согласовано. Вы его можете не довезти. Всё зависит от времени и его организма. Ждите. Молитесь и ждите.

За неделю проверили всё: в лёгких чисто, опухоль спала, температура прыгнула в один день до тридцати девяти и снова стала в норме. Почки работают нормально, справляются. Отменили наркоз.

А сын не возвращается... Не выходит из комы... Ждём, ждём, каждый день ждём... Пошла третья неделя. До окончания обещанного срока остается несколько дней. Врач предупреждает, что кома длится неправильно долго, даже если он из неё выйдет, то нужна будет реабилитация. А между собой говорят о том, что он, когда лежал лицом на кирпичах, сильно припёк мозг. И что он, скорее всего, будет неадекватным, даже если придёт в сознание...

Глава пятая

Часто, оставшись дома одна, женщина вспоминает всё до мельчайших подробностей. От звонка врача, известившего её о смерти сына, до засыпанной снегом могилы. Как она ехала к мужу на работу, чтобы сказать о смерти сына, не видя сквозь слёзы дороги. Лишь в ушах крик кумы: «Не садись за руль!» В те дни она не осознавала, что делает, всё получалось автоматически, будто ею кто-то руководил. Она не падала в обморок, не кричала, не рвала на себе волосы. Она застыла, сжавшись в единый комок нервов, чтобы выстоять, ничего не упустить. Решала вопросы, выбирала одежду сыну, отвозила её в морг. Приходили люди, родственники, друзья. Затянули шторами стены в доме, приготовили всё для последней ночи прощания. В мыслях была тяжёлая картина: сын лежит где-то внизу, в подвале больницы, на каталке, раздетый, одинокий, прикрытый лишь чужой простынею... Как ему там холодно и одиноко!

Эта мысль жгла её до тех пор, пока сына не привезли домой. Работники ритуального агентства деловито занесли гроб, поставили его на табуреты, открыли крышку... Мать рванулась: «Сын! Мишенька!» И быстро прикрыла покрывальцем лицо – обгорелое, в чёрных коростах – чтобы внуки не напугались... Уже потом, сидя ночью у гроба, она открыла ему лицо, гладила мокрые волосы, розовую кожицу на щеках, где успели очистить медсестры в реанимации... Три подруги сидели с ней всю ночь, топили камин, плакали, а вспоминая его проделки и шутки, смеялись над ними, и снова плакали. И ей казалось, что сын тоже рядом посмеивается над своими детскими проказами, совсем не обижаясь на их смех сквозь слёзы.

В день похорон народу было очень много. Она, с опухшим лицом, молчаливо кивала входящим и, предупреждая слова соболезнования, говорила: «Держусь. Держусь». Неумолимо приближался час выноса.

Приехал батюшка отпевать – сын был крещёный. Раздал свечки, воскурил ладан. Она стояла около гроба, держа в руках тоненькую свечку. Таяла свеча, таяло время. Вдруг сжалось сердце – она прямо душой услышала сына: «Мама, зачем? Ты же знаешь, я не любил всё это». Так же мысленно она ответила ему: «Сын, ну, пусть будет у тебя там тот, кто встретит и проводит». Затем катафалк, вынос гроба, снег... Люди... Улица, запруженная машинами... Последняя дорога... Холод.

Воспоминание одиннадцатое

– Знаешь, много было мистики в эти дни. Хочешь – верь, хочешь – не верь. В день смерти вышла за племянницами на улицу из кухни, провожаю их. Стоим. Вдруг как нахлынул на меня запах, такой резкий, мощный, запах какой-то заморский, экзотический. Я в Таиланде была, там так магнолия пахла. Или мурайя так пахнет, когда цветёт. У нас она давно растёт, пряный очень запах. Я сначала головой закрутила: «Девчонки, это у вас духи такие?» А они отрицают, ничего не чувствуют. Я их убеждаю: «Да вы понюхайте! Неужели ничего не чуете?» Нет. Значит, только я этот запах слышу, видно, это сын со мной и вами прощается. С тех пор, когда цветёт моя мурайя, я знаю: это привет мне от сына...

– Хотели у него на телефоне посмотреть номера, да, может, фото какое было. Но телефон заблокировался, а пин-код мы не знали. Симок у него было несколько. Какие нашли коды – попробовали ввести, но не то. Мучились несколько дней, многие пытались, но не могли открыть заднюю панельку, достать симку. И как-то утром, перед фотографией стою, разговариваю с ним, прошу: «Сын, хоть дай знать, где ты пин-код записал? Не можем разблокировать телефон». В тот же вечер муж взял телефон в руки, легко сдвинул панельку – там на бумажке пин-код! Муж даже в своём телефоне не знал, как панелька открывается! А тут будто телефон его ждал!

– День начинала с разговора с сыном. Встану перед портретом, поговорю, поплачу. Как-то прошу его: «Хоть дай знать мне, что ты там не страдаешь, не мучаешься! Приснись мне, или пусть ещё какой знак. Чтобы я знала...» Приснился не мне, а дочери. Идёт она по берегу моря или океана, сын в шезлонге сидит, в панаме, чёрных очках. Рядом транзистор, музыка играет, удочки. Дом красивый в глубине поляны стоит, лес дальше. Что он любил, что он рисовал незадолго до

смерти... А на следующий день приснился племяннице, они погодки, дружны были очень. Идёт она по полю, а навстречу ей сын. «Пойдем, – говорит, – я тебе покажу, где живу». И выводит... на такое же место, какое дочь видела. Всё совпало.

На сорок дней другой племяннице приснилась моя мама, умершая уже десять лет назад. Вытирает слёзы: «Вот и Минька здесь, видно, тоже умер!» Только она его так всегда звала. Как тут не поверить в жизнь по ту сторону черты? Как не поверить в старые приметы: обе собаки ушли следом за сыном. Одна на сорок дней, другая на полгода. И кот ушёл вместе с ними. Пришлось нам всех животных заново заводить. Сын любил собак, да и кота не обижал.

Пришла первая осень. Дом внутри привели в порядок, прируб сделали, отопление. Надо было доводить до ума камин, но он никак не давался. Сама пробовала обкладывать плиткой – ничего не выходило. Пробовали искать плиточника – тоже не получалось. Только с одним договоримся – в запой уйдет, другой руку вывихнет, третий просто потеряется. И тут случайно мужу друг сына встретился, и в разговоре выяснилось, что он тоже кладёт плитку. А мы даже не знали. Стал работать вечерами, да в выходной. Работал не торопясь, но аккуратно. А я рядом на подхвате была. И вот в один из дней, уже поздно было, темно за окном, сижу, смотрю, как Димыч работает. И вдруг вижу боковым зрением: сын рядом, у стенки, на чурбачке сидит, покуривает, и вроде как другу говорит: «Ты не болтай, а работай, работай!» И смеётся. Ушла в другую комнату, плачу, в окно смотрю. А Димка спрашивает, что, мол, сына увидели? Видно, тоже заметил...

Глава шестая

Только после сорока дней женщина смогла снова прийти в больницу, где в реанимации почти три недели лежал её сын. Она хотела расспросить врача о мельчайших подробностях последних минут его жизни. Она терпеливо ждала его в приёмном покое, теребя пакет с коробкой конфет, с чаем, с банкой кофе. Он вышел, узнал. По лицу пробежала тень – видно, мелькнула мысль, что сейчас эта женщина начнёт с упрёков или со слёз. Врачам тоже трудно говорить о смерти своих пациентов. Но она шагнула навстречу, протягивая пакет:

– Сорок дней прошло, помяните моего сына. Вы же были последние, кто видел его.

– Спасибо, я передам девчонкам, – врач взял пакет. Он понимал чувства матери, здесь отказываться нельзя.

– Скажите, может, всё-таки надо было его отвезти в Иркутск?

– Это не помогло бы. Я же Вам сразу говорил – только ждать. Поверьте, ожоги всегда опасны последствиями. Не выдержало сердце. Оно остановилось на пике биения. Мы даже не смогли его завести. Ни всплеска, ни вздоха. Обычно хоть какой-то скачок на мониторе, здесь – ничего... Мы несколько раз пытались...

Он чувствовал себя неуютно под её взглядом, а она всматривалась в его глаза, пытаясь увидеть подтверждение его словам.

– Вы знаете, я думала, что ожог всё-таки не очень сильный. Ведь я его сдавала в больницу в сознании, чуть опалённого. А когда его привезли домой, я увидела, я поняла, почему он не захотел выходить из комы... Они там всё видят: себя, будущее...

– На его месте я бы тоже не стал возвращаться....

Последний разговор с сыном

– Сын, ты семнадцатый день в реанимации. Семнадцать дней мы с папой тебя не видим, нас к тебе не пускают. Семнадцать дней, утром и вечером, я приезжала к тебе и слышала от врача: «Положение крайне тяжёлое! Самая опасная стадия ожоговой болезни – третья. Выдержат почки и сердце – будет жить! Пока ещё рано говорить об этом. Молитесь и ждите!» Сын, у тебя есть шанс: температура не поднимается слишком высокая, почки справляются, сердце работает. Сын, не смотря ни на что, я вижу тебя живым, с лёгкими шрамами на лице от ожога, ты улыбаешься мне своей лёгкой улыбкой, собираясь куда-то по делам. Я знаю, после таких ожогов тебе нужна будет пластика. Господи! Сын, главное, чтобы ты выжил! Все семнадцать дней мы с папой живём одной мыслью – ты! Наш сын! Тебе тридцать один год, но ты для нас всё равно остаешься младшим. Выживи! Мы все молимся за тебя, мы все надеемся! Сына, я видела ангела около тебя! Ты должен выкарабкаться! Ты же у меня сильный и упрямый! Вчера доктор впервые начал разговор про то, что у тебя будет обезображено лицо после ожога, будет психологический шок от увиденного, когда ты очнёшься и придёшь в себя. Он уже предупредил нас, что, может быть, ты будешь нуждаться в реабилитационном

уходе. Видишь, он тоже верит в тебя, что ты будешь жить, что ты скоро выйдешь из комы. Сына, мы согласны на всё, лишь бы ты выжил... Я смотрю на твою фотографию, разговариваю с тобой... Ты улыбаешься мне... Сын, выживи!

– Мама, а я вижу себя с высоты, вижу свое обезображенное лицо, чёрное от ожога, вижу аппарат искусственного дыхания, который мне подсоединили, когда я перестал дышать... Я вижу тебя и папу, вижу ваши слёзы, я знаю, что вы меня любите. Я тоже люблю вас. Мама, здесь я вижу другой мир, здесь так хорошо! Здесь такой свет и такие краски! У вас там такого нет! Мама, здесь нет боли! Я здесь счастлив! Мама, мне показали мою жизнь, если я выживу. Да, лицо моё будет далёким от красоты, а моё состояние будет тяжёлым... Вы будете биться за меня, возить меня на пластику лица, это очередные муки как для меня, так и для вас. Я буду чувствовать вашу боль и переживания за меня, и сам буду от этого страдать... Я этого не вынесу, я не хочу жить в таких муках. Вы не перенесёте очередной боли от трагедии... А я хочу, чтобы вы жили. Пусть лучше раз, сразу, вы отстрадаете от моего ухода, чем будете страдать и мучиться ещё очень долго... Мама, я отдаю свою жизнь вам! Присматривайте за папой, вы нужны и ему, и дочери, и внукам. У вас ещё много дел на земле. Не плачьте, мама! Я люблю вас! Но это мой выбор – я не вернусь... Я останавливаю своё сердце...

– У меня для вас есть неприятное известие. Сегодня, в три часа дня, ваш сын умер.

– Сына, зачем ты это сделал? Зачем ты остался там? Почему ты не вернулся? Мы так тебя ждали, мы так молили Бога о твоём выздоровлении! Сын, как нам пережить твою смерть? Как нам это все вынести? Жизнь раскололась на две половины: с тобой и без тебя... Я смутно помню похороны... Я видела твоё обожженное лицо, ещё в коростах, которые так и не успели убрать в реанимации... Я поняла, почему ты остался там... Ты так поступил от огромной душевной доброты, от любви к нам... Ты всегда не любил, когда твои проблемы решали мы, ты всегда решал их сам... Даже в детстве, когда был маленький... И сейчас ты одним решением избавил себя от боли и от страдания, нас – от дальнейших проблем... Только нас об этом не спросил... Ты всегда был рыцарем... И сейчас ты пожертвовал своей жизнью ради нас... Я понимаю тебя. Я отпускаю тебя. Лучше я буду здесь страдать за тебя. Сына, я всё время разговариваю с тобой. Я смотрю на твой портрет, пусть не очень удачный – ты никогда не

любил фотографироваться. Твой взгляд, упрямый, с лёгким вызовом, прожигает мне сердце. Я ощущаю тебя рядом, я вижу тебя, слышу... Твой запах хранит твоя одежда, инструменты хранят тепло твоих рук, твоя любимая песня рвёт мою душу... Сына, я никогда не думала, что слёзы могут так жечь... Сына, я себя уговариваю, что ты просто уехал куда-то далеко. Сына, дай знать, что тебе там хорошо, ты там счастлив, ты там не страдаешь! Ради этого я всё вынесу, вытерплю. Извини, если мы, как родители, что-то делали не так, что-то не дочувствовали, недолюбили, недоглядели... Ты всегда будешь рядом с нами, в наших с папой сердцах. Я обещаю тебе жить, ради тебя, ради твоей памяти, ради твоей оборвавшейся жизни...

Содержание

От составителя …… 6
От автора ……... 8
Дом …….. 9
Собаки …… 12
Падучая …….. 16
Таёжный чай …… 20
Баба Ася …… 32
Последний день войны …….. 42
Ка ба зуть ……... 59
Онколюди …….. 63
Чужой бог ……... 75
Федюша …….. 78
Телефон …… 84
Дедушка …… 89
Игра …… 92
Бессонница …… 94
Нежность …… 97
Радоница …… 101
Я не люблю вспоминать войну... 107
Мужские посиделки …… 113
Измена …… 116
Осенняя грусть …… 122
Ребёнок …….. 129
Выбор …… 132
Монолог …… 135
Колядки …….. 138
Сайт знакомств …… 140
Крик …… 143